

КОНСТАНТИН ПОПОВСКИЙ

МОЗЕС

18+

роман

ТОМ ПЕРВЫЙ

Константин Маркович Поповский

Мозес

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=57384605

SelfPub; 2021

Аннотация

Роман «Мозес» рассказывает об одном дне немецкой психоневрологической клиники в Иерусалиме. В реальном времени роман занимает всего один день – от последнего утреннего сна главного героя до вечернего празднования торжественного 25-летия этой клиники, сопряженного с веселыми и не слишком событиями и происшествиями. При этом форма романа, которую автор определяет как сны, позволяет ему довольно свободно обращаться с материалом, перенося читателя то в прошлое, то в будущее, населяя пространство романа всем известными персонажами – например, Моисеем, императором Николаем или юным и вечно голодным Адольфом, которого дедушка одного из героев встретил в Вене в 1912 году. Что касается почти обязательного для всякого романа любовного сюжета, то он, конечно, тоже имеет тут свое место, хотя, может быть, не совсем так, как этого можно было ожидать.

Содержание

Вместо предисловия	4
Книга первая. Мозес и Эвридика	6
1. Иешива	7
2. Кое-что о сновидениях в виду Пэнуэля	19
3. Еврейская самоидентификация	34
4. Филипп Какавека. Фрагмент 10.	38
5. Морг	39
6. Филипп Какавека. Фрагмент 14	45
7. Тетрадь Маэстро	47
8. Феликс и Анна. Первое явление Анны	60
9. Поминальные разговоры	70
10. Филипп Какавека. Фрагмент 123	90
11. Мастерская	92
12. Филипп Какавека. Фрагмент 15	108
13. В тени Ксенофана	110
14. Рыбы небесные	128
Конец ознакомительного фрагмента.	141

Константин Поповский

Мозес

Вместо предисловия

«Не находка ли это для Вечности – сегодняшний день? – Боюсь только, как бы он не оказался больше Вечности, которая рискует затеряться в этом дне, как оказался затерянным в нем я сам».

Константин Поповский «Фрагменты. Прогулки с Истиной и без»

Роман «Мозес» рассказывает об одном дне немецкой психоневрологической клиники в Иерусалиме.

В реальном времени роман занимает всего один день – от последнего утреннего сна главного героя до вечернего празднования торжеств, которые случились в этот день по случаю 25-летия клиники и были сопряжены с различными веселыми и не слишком веселыми событиями и происшествиями.

При этом форма романа, которую автор определяет как **сны**, позволяет ему довольно свободно обращаться с материалом, то перенося читателя в прошлое, то прогнозируя будущее, населяя при этом пространство романа всем известными персонажами – например, Моисеем, Вильгельмом 2-м,

Филаретом Дроздовым, императором Николаем или юным и вечно голодным Адольфом, которого дедушка одного из героев встретил в Вене в 1912 году.

Однако, это вовсе не самое главное, с чем предстоит столкнуться читателю. Главное заключается в том, что больше всего героев романа, объединенных в некое подобие элитного клуба, занимают теологические и философские проблемы, которые они решают вместе с главным героем, иногда открывая для себя весьма любопытные и неожиданные вещи, которые заставляют их и нас посмотреть на мир немного другими глазами, чем прежде. Поскольку сам автор романа не причисляет себя ни к какой религиозной конфессии, то он легко дает своим героям право голоса, чем они без зазрения совести и пользуются в своих спорах, аргументах и историях, оставаясь при этом по-прежнему католиками, иудеями или православными, но в глубине души всегда готовыми оставить все конфессиональные различия ради Истины.

Что касается почти обязательного для всякого романа любовного сюжета (первоначальное название «Мозес и Эвридика»), то он, конечно, тоже имеет тут свое место, хотя, может быть, не совсем так, как этого можно было ожидать.

Книга первая. Мозес и Эвридика

*Моей жене Евгении,
с любовью, нежностью и надеждой*

«— Разве то, чего нет, — это не то, что не существует?»

— Да, то, что не существует.

— И дело обстоит разве не так, что то, чего нет, нигде не существует?»

— Нигде.

— Возможно ли, чтобы кто-нибудь, — кем бы он ни был, — так воздействовал на это несуществующее, чтобы создать его, это нигде не существующее?»

— Мне кажется, невозможно, — отвечал Ктесипп».

Платон «Евтидем».

1. Иешива

Чугунные ворота иешивы были распахнуты настежь, и Давид вошел в них, шагнув через тень каменной арки, ступив на нагретые плиты двора. Пробившаяся с весны трава между плитами уже давно была мертва. Пыльная акация, положив перед собой причудливую тень, почти слилась с песчаной поверхностью ограды, – словно мираж, сотканный из раскаленного воздуха. Ступени каменной лестницы под нависшим балконом прятались в тени. До половины застекленная мутным зеленым стеклом дверь – высокая и тяжелая – нехотя впустила его в прохладный полумрак здания. Густой, падавший сверху, сине-бело-розовый свет витражей и золотое мерцание дверных ручек. Скользящий мрамор под ногами. Крестообразные тени оконных переплетов отпечатались на закрытых шторах, спасающих от солнца. Отсюда надо было подняться на третий этаж. Из круглого окна на лестничную площадку падал столб пыльного света, указывая направление: через библиотеку и дальше, вдоль деревянной галереи к лестнице, ведущей наверх. Загорелись и погасли в стеклянных шкафах электрические блики. Еще один пролет остался позади; до блеска отполированные деревянные перила легко скользили под ладонью. Льющийся сквозь зашторенные окна молочный свет, размыл границы коридора. Дверь в класс

была открыта, и рабби Ицхак уже занял свое место на кафедре, раскрыв перед собою классный журнал. Полы его сюртука, распахнутые над притихшим классом словно крылья, оберегали царившую в классе тишину. Тусклое серебро бороды и золотое свечение тонкой оправы. Белоснежное оперение манжет и воротничка. Его охватило предчувствие неминуемой расплаты. Склонившись над открытой тетрадью, он с ужасом понял, что не помнит ничего. Возможно, ему было задано подготовить дома один из Малых трактатов, но, может быть, что-нибудь другое? Например, затерявшиеся в правом нижнем углу замечания рава Ронсбурга или комментарии околдованного чужими противоречиями рабби Акивы Эгера, – ах, эти путаные комментарии, занимавшие не одну страницу! Похоже, они и теперь, спустя много лет, все еще беспокоили его в сновидениях, появляясь только затем, чтобы лишний раз напомнить о его лени и нерадивости. Сияние электрического семисвечника не оставляло ни малейшей надежды укрыться в тени. Оставалось сжаться, застыть, склонившись как можно ниже, затаить дыхание, чтобы случайным взглядом или движением не обратить на себя внимание, – вполне жалкий трюк, к тому же, как правило, приносящий прямо противоположные результаты. Шляпа рабби Ицхака плыла над классом, словно коршун, высматривающий себе жертву. Потом Мозес услышал его голос, сказавший:

«Всеблагой, да будет благословенно Его имя, призывает

не всех, далеко не всех. Поступает ли Он справедливо, когда призывает не всех, и в чем возможная причина этого, – на это нам ответит сегодня...»

Голос смолк, как смолкает на мгновение осенний ветер, прежде чем обрушиться с новой силой. Конечно, он знал, что не следует поднимать глаза, и уж тем более, смотреть в сторону кафедры. И все же он поднял их навстречу этой бесконечной паузе, обещавшей ему позор и унижение, поднял, чтобы встретиться с направленным прямо на него из-под очков взглядом, тотчас поймавшим его, словно неосторожно клюнувшую приманку рыбу или зазевавшуюся бабочку, слишком положившуюся на свои крылья. Что же и оставалось ему еще, как ни подчиниться этому голосу, безропотно приняв то, что уготовило ему уже отворявшее дверь будущее?

Ветер обрушился, прозвенев хрустальными подвесками люстры; метнулся по стенам мигающий свет семисвечника.

«Давид!» – сказал этот голос, и его имя прокатилось под расписным сводом и оборвалось вместе со звуком хлопнувшей форточки.

Смутные пятна повернувшихся к нему лиц.

Страстное желание хотя бы еще на мгновение отсрочить неизбежное.

Может быть, ему и удалось бы это, да только рабби Ицхак уже манил его, указывая место перед кафедрой.

Твое место, Давид.

То самое, где тебя мог легко заметить даже слепой.

Первое, что он увидел, оказавшись на виду у всего класса, был жирный Стеклярус, мрачно вззирающий на него с колен старой тети Берты. Сама тетя поглаживала кота и тоже смотрела на него, и на лице ее было написано знакомое выражение, которое можно было бы перевести одним словом: *ничегодругогояразумеетсяяинеожидала*. Каштановый парик ее сбился, и казалось, вот-вот свалится с головы.

То же выражение, впрочем, было и на лице дяди Шломо, сцепившего пальцы на набалдашнике своей трости, и на лицах трех троюродных сестер из Ашдода, чьих имен он не помнил, и на лице всегда веселого дурачка, охраняющего стоянку машин, – оно было даже на лице старого Нафана, о котором рассказывали, что он был женат семь или восемь раз, и чье лицо теперь казалось окаменевшим в презрительной маске, а взгляд, направленный в сторону, был холоден и почти враждебен.

Погибший во время взрыва в автобусе вместе со своей маленькой сестренкой Иося Рабман поглядывал на него с недоумением и, пожалуй, даже с жалостью, тогда как его мать, закутанная в черную, заколотую на плече большой брошью шаль, напротив, смотрела на Давида с нескрываемой ненавистью, как будто именно он был виноват в том, что миллионы порождающих друг друга случайностей сплелись в тот злополучный день и час в одну непостижимую случайность, которая привела в один и тот же автобус обвязанного взрывчат-

кой арабского террориста и ее детей, старшего Йосю и младшую Рахель.

Что же касается его тренера, – маленького Самуила, откинувшегося назад и заложившего за голову руки – то его взгляд был хотя и печален, но вполне спокоен, как, впрочем, и подобает взгляду человека, которого уже трудно было чем-нибудь удивить – в особенности после того, как его карьере чуть было не пришел конец, и разумеется, по вине все того же Давида, который в последнем отчете об игре с итальянцами позволил себе целый ряд неуместных замечаний о работе тренера, да вдобавок отпустил несколько сомнительных колкостей в адрес судьи и организационного комитета, поставив, тем самым, под сомнение свое дальнейшее пребывание в должности пресс-секретаря футбольного клуба «Цви», который, по общему мнению, уже давно наступал на пятки всем известного «Маккаби».

Нервно покусывающий свой свисток судья тоже был здесь. Он смотрел на Давида с брезгливым превосходством и взгляд этот, похоже, не обещал в будущем ничего хорошего. Тем более, подумал Давид, что его родители тоже сидели где-то поблизости, не глядя в его сторону и сгорая от стыда, потому что было совсем нетрудно догадаться, что все те, кто собрался сегодня здесь, собрались исключительно затем, чтобы услышать голос маленького Давида, по какому случаю были куплены цветы и разосланы приглашительные открытки. Даже господин Леви, имевший какую-то ученую степень

и преподававший в Еврейском университете, не отказался от приглашения, хотя уже несколько лет был разбит параличом и не покидал своего дома. Он сидел в своей коляске, укрывшись среди цветных подушек, и его торчащие из-под пледа босые ступни были похожи на только что выкопанные из земли картофельные клубни.

Дедушка Самуил обнимал за плечи бабашку Рейзл, которая, склонив на его плечо голову, смотрела равнодушно и даже чуть надменно, как на той фотографии в деревянной рамке, висевшей между окном и шкафом в маминой комнате. Взгляд фалафельщика-марроканца, напротив, был насмешлив и рот его, под пышными усами, кривился в белозубой ухмылке. Все они – и еще многие, чьи лица он не мог отсюда видеть, – пришли сюда, чтобы праздновать и веселиться, и уж во всяком случае, не слушать все те глупые оправдания, которые он собирался вот-вот вывалить присутствующим на голову. Но ужаснее всего был, конечно, паривший над первой партой огромный бант, принадлежавший дочери хозяина красной «Тойоты» с висящим на ветровом стекле пушистым медведем. Каждое утро, когда отец отвозил ее в школу, Давид смотрел из окна, пока машина не исчезала за поворотом, и, возвращаясь вечером домой, он специально делал небольшой крюк, чтобы взглянуть на угловое окно третьего этажа, где была ее комната. Теперь она смотрела на него, широко открыв глаза, словно ожидая, что сейчас произойдет нечто ужасное и в высшей степени постыдное, чего никогда

не случается в жизни, но о чем можно прочесть в некоторых книгах или узнать из случайно подслушанного разговора.

Похоже, оно уже, и правда, стояло за дверью, – это ужасное и постыдное.

Съеденное внезапно нахлынувшими из померкших окон сумерками пространство класса стало значительно меньше, – легли на лица тени и потускнели краски, – и только листы лежащей на столе перед рабби Ицхаком Книги по-прежнему излучали теплый жемчужный свет, в круг которого, повинувшись приказу рабби Ицхака, Давид готовился теперь войти – надеясь, что эти испещренные черными буквами страницы, лежащие в центре мерцающего пространства, должны были защитить его от позора и унижения, уже коснувшихся его негодующим шепотом и негромким смехом.

Его нагота – непристойная и кощунственная – была пока еще только чуть различима в окутавшей класс темноте, но сейчас, когда ему, наконец, предстояло войти в этот световой круг, чтобы испытать последнюю степень унижения и оставленности. Становилось ясно, что эта нагота уже не могла быть преодолена ни бегством, ни отступлением, ни даже жалкой попыткой спрятать ее, укрыв оберегающим покровом одежды. Похоже, происходящее указывало ему единственно возможный выход, который следовало искать в каком-то скрытом соответствии, существовавшем между этой постыдной наготой и плывущим вокруг Книги сиянием, – между бесстыдной абсурдностью обнаженной плоти и эти-

ми повисшими над страницами буквами, которые, наливаясь то красным, то белым, то голубым, уже росли и ветвились, сплетая невероятные узоры, образуя глубину и объем, и раздвигая границы света, чтобы немедленно прорасти в это новое пространство, наполнив его шорохом листьев и невысказанными переливами красок, – разросшийся «коф» цеплялся за пустивший корни «алеф», «мем» сплетался с «тафом», провиснув воздушной аркой над разбросавшим свои побеги «шином», уносился в умопомрачительную высоту стремительный «гимель», толстый ствол «вава» тянулся вверх, прочь от травянистого ковра «иодов» и нежных стеблей «нун» и «коф-софитов», – оплетающий ствол ветвистого «цади» «ламед» был подобен виноградной лозе, а ветви «айна» легко стелились по земле, путаясь в побегах «зайна», – и все эти коралловые заросли и переплетенные кроны светились, переливаясь и пульсируя. Они то вспыхивали кипящим золотом, то загорались изумрудным, сиреневым или молочно-белым магическим светом, который – потеснив из памяти стены класса – открывал теперь глубину и кружевную сложность нового изменчивого пространства, – все эти закоулки и ярусы, созданные переплетением ветвей, ажурные галереи, уводящие в чашу тропинки, повисшие над бездной поляны и мосты, едва угадывающиеся в туманной дали невысказанные деревья-гиганты, и уносящаяся в никуда путаница корней, – пространство, обещавшее открыть ему это желанное соответствие, это потаенное от посторонних глаз место, где

его нагота перестанет быть позором и проклятьем, – и, стало быть, оставалось только войти в этот трепещущий лес, в этот мерцающий, вспыхивающий, горящий праздник – вот так, раздвинув руками ветви и ступив на тропу, которая одна могла увести прочь от уже наступающего, готового затопить тебя тысячеголосого смеха, больше похожего на шум морского прибоя.

Впрочем, этот смех уже не казался ему ни ужасным, ни внушающим страха. Разве что, на редкость бессмысленным показался он Давиду, – таким каким смеялся когда-то жирный Рувимчик, сын торговли-эфиопки с соседней улицы, вечно пахнувший шоколадом или мятной карамелью, за что его звали Батончик Дерьма, и чей смех Давид слышал напоследок, прежде чем в наступившей тишине сомкнулись за его спиной стеклянные ветви и чей-то голос, наполнивший собой все видимое пространство, сказал, не заботясь о том, слышит ли кто-нибудь его или нет, – *"Приду и в святости Моей освятишься"*.

Именно так и было сказано, и это лишало тебя возможности сомневаться, тем более что сразу после сказанного на мир опустилась долгожданная тишина и черная фигура в шляпе, мелькнувшая напоследок среди деревьев, могла, наконец, вернуться туда, откуда она и начала когда-то свой путь, требовалось только поскорее скрыться среди всех этих "вавов", "йодов" и "зайнов", чтобы самому стать одним из них, – вот так, раскинув руки-ветви, протянув их навстречу

уже меркнувшему небу, пустив корни в лежащую под ногами бездну и повторяя про себя, что награда – это всего лишь возвращение, а обретенное всегда в состоянии обрести только самого себя.

Наверное, именно поэтому таким чужим выглядело теперь собственное отражение, смотрящее на тебя из туманной дали меркнувшего небесного зеркала, – хотя следовало признать, что оно имело несомненное сходство с физиономией жирного Рувимчика, – каким его можно было видеть в телевизионной религиозной программе, которую он вел каждый четверг: те же кокетливо пружинящие, безукоризненно завитые пейсы, и заплывшие хитрые глаза, да еще это непередаваемое выражение лица, – словно он был со Всевышним в самых близких отношениях, которые требовали теперь от всех окружающих уважения и понимания. При этом, разумеется, он тоже ничего не желал знать о твоей жаждущей благословения нагой плоти, которая, быть может, была только преддверием другой, последней и ослепительной наготы, стремящейся прочь от оплетающих ее мертвых ветвей и корней. Это значило, конечно, что прежде чем выбрать направление бегства, следовало без промедления узнать, кто же ты все-таки такой, забывший свое имя и не помнящий своего лица?.. Кто ты, смотрящий сквозь мертвую сеть ветвей, как взбирается на небосвод мерцающий алмазами Скорпион, – уже готовый выкрикнуть в окружающую тьму давно готовый вопрос, который следовало задать, пока Рувимчик на экране

телевизора еще не успел взять в руки микрофон,
выдохнуть эти застрявшие в горле слова,
чтобы услышать в ответ голос рабби Ицхака, –
– близкое пробуждение иногда позволяет нам расслышать
и понять тишину самой нашей оставленности, на несколько
мгновений остающуюся от навсегда уходящего от нас сна, –
– голос, подобный порывам сухого хамсина, поющего
свою песню над сожженной травой Негева или рокоту, плывущему над Храмовой площадью в Песах или в Шавуот –
– этот никогда не утруждающий себя повторениями голос,
ответивший ему:

«Ты – Давид Вайсблат, пресс-секретарь футбольного клуба "Цви", играющего, как умеет, перед лицом Господа твоего, который вывел народ твой из плена и исполнил все до последнего слова, как клялся отцу их Аврааму в Харране...»

Донесшиеся до слуха слова были услышаны в уже осязаемой тишине пробуждения. Они, несомненно, принадлежали рабби Ицхаку. Но только не стремительно тающему сну. А поскольку этот голос также ни в коем случае не мог принадлежать возвратившейся реальности – хотя бы только потому, что тело его хозяина уже несколько лет мирно покоилось на южном склоне Еврейского кладбища, – то, вероятно, оставалось отнести эти слова к реальности другого, высшего порядка, – к той самой, которая была, как пишут знающие книги, домом ангелов и источником откровений, – последним местом, где человек еще мог встретиться с Небом, что-

бы получить наставления или лишний раз убедиться в своей оставленности. При этом следовало, конечно, признать, что хотя логика этого рассуждения и была вполне безупречна, она, тем не менее, не избавляла нас от сомнений, тем более, не давала в руки твердых доказательств, поскольку одним из основополагающих принципов, на котором созидалась та реальность, куда возвращался теперь Давид, состоял в том, что эта, называющая себя явью реальность, хоть и не умела сама продемонстрировать что-либо вразумительное и достоверное, зато с легкостью позволяла каждому обитающему в ней «хомо сапиенсу» – опираясь на свой опыт или не опираясь вообще ни на что – самому, на свой страх и риск, выносить окончательные суждения об истинности или ложности чего бы то ни было: увиденного, услышанного или же только помысленного – не важно, своего или чужого.

Именно это и намеревался сделать теперь Давид, расставаясь с последними ключьями тающего сна. Но прежде следовало открыть глаза.

2. Кое-что о сновидениях в виду Пэнуэля

Сны занимали его, главным образом, в силу их непредсказуемой опасности. Большинство из них, правда, уходило, не задев ни памяти, ни сердца: пестрая чехарда смазанных образов, вышивающих свои нехитрые сюжеты из обрывков подсмотренной реальности и не имеющих своей доли в дневной жизни. Но случались и другие сны, они властно творили свое пространство, которое, скорее, походило на камеру пыток, откуда немислимо было убежать уже только потому, что их власть не признавала границ, отделяющих сновидение от яви.

Эти сны вторгались без какого бы то ни было повода, не считаясь с действительностью, но, что еще хуже, они не считались даже со временем, которое одно обладало когда-то способностью врачевать раны и возвращать покой, а теперь само обернулось сном, искусно скрывающим подлинную реальность. Эти сны захватывали тебя врасплох, превращая в беззащитную куклу, послушно исполнявшую все, что требовал их незамысловатый пыточный сценарий. Сны-кошмары, не наполненные никаким содержанием, кроме беспредельного ужаса перед чем-то, не имеющим даже фор-

мы, – черный провал, настаивающий тебя, чтобы поделиться единственным богатством, которым он обладал: последним и окончательным уничтожением, у которого не было даже имени.

Случалось, впрочем, что эта бездна обретала иногда какие-то смутные очертания, – не то человеческой фигуры с протянутыми к нему руками, не то чудовищной рыбы, раскрывающей пасть, – но чаще все же это был только беспросветный мрак, сжимающий грудную клетку, забивающий рот, пеленающий по рукам и ногам невидимой сетью. Ужас, который он испытывал при этом, был часто столь велик, что он сразу просыпался от собственного крика. Но прежде, чем проснуться, – в непостижимом мгновении, отделяющим сон от яви, – он успевал понять, что рвущийся из его горла крик был не только свидетельством овладевшего им ужаса, но и взывающей о помощи мольбой, – рожденной из глубины последнего отчаянья молитвой, невозможной среди погруженной в сомнения обыденности дневной жизни.

Молитвой, которая, несомненно, была услышана, о чем неопровержимо свидетельствовало наступившее вслед за тем пробуждение.

Какие еще нужны были доказательства, Давид?.. И был ли этот странный трепещущий звук, сопровождавший его возвращение, действительно шелестом ангельских крыльев, посланных избавить его от неминуемой смерти, как это, помимо воли, приходило ему в голову?

Самого Давида, впрочем, это нисколько не занимало, как не занимал его и вопрос о том, насколько заслуженно было его спасение. Полагая, что случившееся относится к той редкой области, где важен сам факт, а не его истолкование, он не делал никаких выводов, кроме разве что одного: поданная ему помощь была реальна и несомненна, как реален и несомненен был и сам он, – стоящий на краю гибели и взывающий об избавлении. Это значило, среди прочего, что и те, другие сны, которые ранили его болью – были только испытанием, только проверкой – тем более что именно на этом настаивал в одном из своих писем рабби Ицхак, ссылаясь на слова Ирмеягу, сказавшего: «не слушайте снов ваших, которые вам снятся», ибо по свидетельству Шмот даже сбывшийся сон ни в коей мере не подтверждает истинности самого этого сбывшегося, а лишь указывает на то, что Всеблагий искушает нас, чтобы узнать глубину нашего сердца...

Возможно, – отмечал рабби Ицхак, – что эти сны могли быть также предупреждением и здесь он указывал на спор между Йовом, сказавшим: «Ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня», и Елиуем, ответившим (и, кажется, не без основания), что, приходя во сне, Бог «открывает у человека ухо и запечатлевает Свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость... чтобы душу его отвести от пропасти и жизнь его от поражения мечом».

К этому рабби Ицхак добавлял уже от себя (и его мне-

ние, как нельзя кстати, было тогда созвучно настроению самого Давида), что, вероятно, следует допустить существование темных областей, угрожающих нашей жизни, – областей, не пронизанных божественным светом и стремящихся прорваться в нашу действительность, для чего они избирают самый короткий и прямой путь, ведущий через человеческую душу, которой они пытаются овладеть в сновидениях.

Тем самым, – продолжал рабби, – эти сны можно было понять и как испытания нашей готовности самостоятельно противостоять уводящим от света боли и отчаянью, и как предупреждения об опасности вторжения темных сил, угрожающей превратить нашу жизнь в одну только видимость и мираж...

Сон, приснившийся ему сегодня, был, впрочем, не похож ни на то, ни на другое, хотя бы потому, что снился ему уже не в первый раз. Впервые он увидел его еще в иешиве, много лет назад, тогда этот сон ушел, не оставив следа, чтобы затем вернуться и повториться еще много раз – тревожа и маня. Декорации его менялись от раза к разу, но главное оставалось без изменений: полумрак иешивы, его абсурдная нагота, бегство в пылающие заросли разросшегося текста, и, наконец, голос рабби Ицхака, предвещающий неминуемое пробуждение.

В иешиве, куда он ходил много лет назад, конечно же, не было ни мраморного пола, ни витражей, ни висящей в классе хрустальной люстры, –

еще не разлепив веки,
лениво перебирая в памяти давно прошедшее,
он вновь лишний раз убеждался,
что в бессознательной потребности сравнивать образы
сновидений с реальностью таилось всего лишь обыденное
желание покоя и уверенности,
ибо эта потребность, как нельзя лучше, подчеркивала
устойчивость и прочность желанной яви,
ее достигаемые горизонты
и вполне понятные требования.

Не было в той иешиве, разумеется, и расписного свода, и электрического семисвечника, и огромных, мерцающих золотом, дверных ручек, как, впрочем, не было и третьего этажа, куда на этот раз вела во сне широкая лестница. Крохотная иешива рабби Ицхака располагалась в двухэтажной пристройке старого дома, в глубине заканчивающейся тупиком улочки, которая, кажется, даже не имела своего имени. В памяти остались выкрашенные зеленой краской стены и тесная прихожая, где висела в шкафу верхняя одежда, квадратные окна, выходящие во двор, – там действительно росла у ворот старая акация, – потертые корешки Виленского Талмуда, стоявшие вместе с другими книгами в незастекленных шкафах напротив окон, и висевшие над столами пыльные стеклянные плафоны с аккуратно выписанными на них цитатами из Танаха.

Второй этаж пристройки занимал вместе с женой сам раб-

би Ицхак, – туда вела со двора наружная железная лестница, всегда отзывающаяся на шаги поднимающихся или спускающихся по ней тревожным гулом.

Покопавшись в памяти, можно было вспомнить еще кое-какие мелочи, например, капли воды, падавшие на раскаленные камни двора с развешенного на балконе белья, или разносившийся из открытого окна кухни запах жареного лука и рыбы, или же, наконец, саму госпожу Хану Зак, боком спускавшуюся с лестницы, чтобы отправиться на рынок или к младшему сыну, живущему в соседнем квартале, – Давид давно обратил внимание, что если зацепиться за оставшееся в памяти прошлое и сосредоточиться на нем, то спустя какое-то время начинаешь припоминать скрытые до того второстепенные детали, очертания вещей и лиц становятся отчетливее, и все, что прежде было разбросано и смазано, начинает возвращаться на свои места, складываясь в отчетливую картину, подобно тому, как отдельные пятна и линии проступая на фотобумаге, постепенно образуют одно целое. Другое дело, что точность деталей, похоже, не имела к его сну никакого отношения, потому что здесь все было совсем не так, как в действительности, – в особенности это касалось здания, более походившего во сне на дворец; впрочем, так было и во всех предыдущих сновидениях, где оно то поднималось в небо сверкающим нагромождением стеклянных сфер и кубов, то дробилось в немозможных пересечениях зеркальных отражений или же утопало в цветах, которые рос-

ли прямо из стен и свисали с потолка. Неизменной оставалась лишь растущая у ворот старая акация, хотя и она однажды тоже прозвенела в одном из его снов густой серебряной листвой.

Скорее, в качестве забавного курьеза, нежели чего-то, что нуждалось в серьезном обсуждении, Давид упомянул однажды об этом превращении в одном из писем к рабби Ицхаку. Тот ответил ему на удивление обстоятельно и подробно. В первую очередь он высказал осторожное сомнение относительно нашей способности видеть и понимать подлинную суть окружающих нас вещей.

Можно думать, что вещи, с которыми мы имеем дело в этом мире, равно как и сам мир, в действительности, далеко не то же самое, что они представляют собой в своей последней истинности, как воплощение великого Божественного замысла, – писал рабби Ицхак своим аккуратным, почти прозрачным женским почерком.

Подлинная сущность вещей скрыта от нас, как скрыта от нас и наша собственная природа. Ссылаясь на первую главу Брейшит, рабби отметил в подтверждение сказанного, что сотворенный мир, несомненно, был хорош в глазах Сотворившего его, ибо он был сотворен Его волей и по Его замыслу, – однако, из этого вовсе не следует, что мир хорош также и для нас, находящих себя в этом мире, пребывающих в нем и созерцающих его изнутри. Ведь если под словом «хорошо» – пояснял рабби, – понимать истинный смысл и

сущность вещей, их последнюю красоту и смысл, то это может быть открыто лишь очам Того, Кто вызвал эти вещи из мрака небытия, – но совсем не обязательно очам смертных, видящих мир гадательно и неясно. Ибо, подобно морским птицам, обреченным самой природой проводить всю свою жизнь на морских просторах и иногда ныряющим в непонятной тоске в темную глубь моря, – мы довольствуемся лишь далеким от первоизданного совершенства образом мира, чья истинная суть до поры до времени надежно скрыта от нас волей Всевышнего.

Извинившись за некоторую, возможно, излишнюю цветистость слога (к чему он действительно имел порой неодолимую склонность), рабби Ицхак отметил далее, что безбрежная водная ширь, конечно же, дает морским птицам пищу и пристанище, однако никто не будет спорить с тем, что следует отличать «хорошее» от «полезного» – если под «хорошим» понимать истинное и последнее. Разве же в Брейшите говорится, что Всесильный открыл нам Творение в его истинности? – вопрошал рабби, и отвечал – Конечно, нет, ибо там сказано лишь о том, что все, что Он даровал человеку, было даровано ему для его пользы (как эти плодоносящие деревья или годная для пахоты земля), однако ничего не сказано, что Он открыл человеку Творение в его сокровенной глубине. Лишь сам Всесильный видит Творение так, как оно задумано – в его изначальной чистоте и окончательной завершенности, – а значит, оно действительно является тако-

вым и таковым будет пребывать вовеки, ибо слово Всемогущего – непреложно.

Вот почему, – торопливо продолжал рабби Ицхак, словно боялся потерять нить размышлений, – вот почему следует помнить, что смерть и разрушение, страдание и старость – все это суть только видимость, проистекающая из нашей неспособности видеть сущее в его высочайшем совершенстве, и в этом нам следует черпать утешение и надежду. И разве не о той же надежде свидетельствует загадочное молчание Создателя, не высказавшего о человеке своего одобрения, ибо завершающее шестой день творения «хорошо» было обращено не непосредственно к сотворенному человеку, но относилось, скорее, ко всему Творению в целом, или, во всяком случае, к положению человека в мире, где он был призван властвовать и повелевать? Ведь определяя человека, с одной стороны, через возложенную на него задачу (властвовать, возделывать и хранить), а с другой, через его подобие Тому, Кому никто и ничто не может быть подобно, Брейшит подводит нас к мысли о возможности бесконечного совершенствования человека, о его бесконечном приближении к видению истинной сути вещей и мира, когда зло следует понимать, как способность видеть своими собственными глазами, а добро – как способность созерцать мир глазами самого Творца, или, – насколько это возможно, – приблизиться к такому созерцанию, хотя было бы большой ошибкой считать, что это созерцание есть только опре-

деленный способ познания, – пусть даже это познание является истинным и последним.

Это значило, конечно, – легко догадался Давид, – что видеть сокровенное, значит обнаружить свою собственную сокровенность, а различать истинное – значит самому быть истинным.

Другими словами, – заключал рабби в последних строках своего письма, – увидеть мир глазами Творца, означает самому стать таким, каким тебя видит Творец...

Когда-то очень давно это письмо навело Давида на грустные размышления о влиянии греческой и европейской философии на еврейский дух, заговоривший чужим языком и утративший, в результате, свою ясность и простоту. Не тени Филона и Маймонида проступали за его строчками? И разве не повторял рабби Ицхак Платона и Спинозу, чьи рассуждения выпирали из-под традиционной одежды, сотканной из цитат и заговорившего молчания? Что значит это повторение в устах того, кто верил всем сердцем, что Всевышний в состоянии умерщвлять младенцев и заниматься истекающим слизью или потерявшим волосы? Ответить на это, вероятно, не составляло бы большого труда, однако едва ли не тогда же, или, быть может, чуть позже, перечитывая письма учителя, Давид начал ловить себя на подозрении, что, возможно, речь здесь шла совсем о другом – о чем-то, чему сам автор писем не мог, сколько не старался, найти адекватного выражения и потому был вынужден прибегать к тради-

ционной терминологии и вводящим в заблуждения символам, так, словно он изо всех сил пытался передать ускользающие образы сновидений, которые никак не вмещались в границы яви, или поймать лишь одному ему слышную мелодию, ничего общего не имеющую с ее нотной интерпретацией, – одним словом, нечто, что никак не удавалось спеленать сетью привычных понятий и логических приемов, и что оставляло после себя лишь крепнувшую раз от раза уверенность в безнадежности всех дальнейших попыток.

Впрочем, кроме этого оставалось и еще кое-что, а именно, сама эта невозможность рассказать об увиденном, – это кричащее и доступное для всеобщего обозрения косноязычие, похожее на клеймо, которое, пожалуй, одно могло свидетельствовать в пользу действительного существования этого ускользающего – подобно хромоте, подаренной когда-то Якову Боровшимся с ним в Пэнуэле, чтобы эта хромота свидетельствовала, что случившееся с ним во сне, случилось на самом деле.

Это таинственное клеймо, это мучительное косноязычие, обретающее себя в безнадежных поисках нужных слов, Давид со временем научился различать почти за всем, о чем писал и что говорил рабби Ицхак.

Иногда он сравнивал эти попытки с ночной борьбой Якова, изнемогавшего в объятиях Напавшего, иногда же – с криками Йова, воющего над телами своих мертвых детей. Случалось, что вчитываясь в аккуратные строчки писем, он

вдруг начинал чувствовать, что ему все же удалось проникнуть за завесу слов, подобрать к дверному замку нужные ключи, – но даже если ему это действительно удавалось, подсмотренное быстро исчезало, как только он пытался сформулировать его в привычных понятиях.

Немота, жаждущая воплощения и всякий раз получающая в дар хромоту.

Необыкновенно ясно она проступала в конце письма, где точность мысли – очерчивающей и высвечивающей свое загадочное пространство – соседствовала с довольно жалким выводом, невольно наводя на подозрение, что все это – не более чем шутка или мистификация.

Рабби Ицхак бен Иегуди Зак писал:

Видеть мир глазами Творца – означает самому стать таким, каким тебя видит Творец. Это значит также, что подлинное и сокровенное всегда рядом с нами, оно – не иное, чем то, с чем мы ежедневно сталкиваемся в нашей жизни. Если же мы не в состоянии преодолеть окутавшую жизнь видимость, то это происходит только в силу нашего неумения или нежелания вернуться к самим себе, – вновь увидеть себя поставленными Всесильным в самую сердцевину Творения и слушающими Его голос, призывающий нас властвовать и повелевать.

Не указывает ли Брейшит на что-то очень важное, рассказывая, что человек был сотворен в последний день Творения, чтобы получить из рук Творца власть над сотворен-

ным? Разве иметь власть – не значит быть другим, нежели то, над чем ты властвуешь, – не в этом ли и заключается истинный смысл человеческой свободы: быть вне всего, чтобы царствовать над всем?

Конечно, – торопливо продолжал далее рабби Ицхак, словно желал поскорее миновать это опасное место, – кто скажет, что подобная свобода всего лишь пустота – тот будет, наверное, тысячу раз прав, ибо, что же еще можно сказать о том, что не является ничем и не принадлежит никому? Но разве не эта пустота составляет нашу подлинную природу, – ту, о которой не было сказано, что она «хороша», может быть, только потому, что она оказалась лучше всякой похвалы, несмотря на то, что ее день еще не наступил?

И разве не она была призвана к тому, чтобы властвовать и повелевать, терять и находить, возделывать, хранить и побеждать, любить и отдавать, преображать и преодолевать непреодолимое – и все это перед лицом Сотворившего ее, как это и было сказано: «встань, пройди по этой стране в длину ее и ширину, ибо тебе Я отдам ее»?

Ибо, что нам с того, – продолжал рабби, – что мы знаем, что человеку не дано видеть истинную сущность Творения, если ему дана возможность бесконечного приближения к этому видению, в котором – обретая свою собственную истинность – он преодолевает призраки страдания, смерти и несовершенства, окутавшие мир и пребывающие в мире вещи?

Близость к сокровенному, – заключал, наконец, рабби Ицхак, – вот на что должны мы направить все свои помыслы.

Близость к сокровенному, которое всегда рядом, ибо неизменно пребывает, охваченное взглядом Творца, – увиденное Им и живущее в этой вечной увиденности.

Вот почему, – напоминал рабби, – нам следует быть внимательными и всегда готовыми, ибо иногда Всесильный позволяет нам – наяву или в сновидении, – увидеть эту сокровенность окружающего, быть может, не так ясно и отчетливо, как ее видели пророки и великие праведники, но вполне достаточно для того, чтобы мы могли различить в ее свете свое собственное лицо и лежащий под ногами путь.

И, стало быть, – допускал рабби Ицхак, возвращаясь к нашей прежней теме, – преображенное в сонном видении здание иешивы, может быть, и не значило ничего особенного, но, возможно, Давиду было дано увидеть ее в ее подлинном облики, – такой, какой ее видит сам Творец...

– и прочее, и прочее, hoc genus omne.

Уже значительно позже Давид отметил по поводу этого пассажа, что, в конце концов, из каждого Канта рано или поздно выглянет свой Шопенгауэр, звенящий контрабандными отмычками от, казалось бы, навсегда запечатанных дверей. В противном случае, – подумал тогда Давид, – мир давно бы уже погрузился в молчание.

Впрочем, иногда он ловил себя на подозрении, что, в сущности, здесь не требовалось никаких отмычек, потому что,

на самом деле, не существовало ни самих дверей, ни скрывающейся за ними тайны. Не было ничего сокровенного, что лежало бы по ту сторону слов, за исключением этого абсурдного ночного единоборства в виду Пэнуэля, – этого чертового мордобоя, награждающего тебя в результате обжигающим клеймом, хромотой и другими увечьями, которые отрывали человека от привычного мира и делали его непохожим на других.

Иногда ему приходило в голову, что, пожалуй, не было бы ничего удивительного, если бы оказалось, что именно эту нелепую мысль и пытался выговорить его старый учитель.

3. Еврейская самоидентификация

Если принять во внимание мнение рабби Ицхака бен Иегуды, полагавшего, что снившаяся Давиду иешива вполне могла быть точным отражением истинного творения Вечности, то это же следовало бы, пожалуй, сказать и о самом рабби, чей облик, нет-нет, да и возникал во снах Давида. Во всяком случае, это можно было бы легко допустить хотя бы в отношении того повторяющегося сновидения, в котором присутствие рабби было неизменным и, похоже, обязательным. И хотя причудливые и неправдоподобные образы, в которых он приходил, менялись от сна ко сну, тем не менее, он всегда оставался в этих сновидениях именно рабби Ицхаком, – не важно, восседал ли он при этом среди застывших стеклянных облаков, или давал о себе знать повисшей над классом шляпой, чьи поля украшали маленькие букеты весенних тюльпанов, или же, наконец, просто прогуливался возле стен Старого города, постукивая по асфальту своей неизменной палкой с серебряным набалдашником, изображавшим смотрящего в разные стороны двуликого Януса. Но, даже прорастая на его глазах деревом или порхая под потолком беззаботной бабочкой, он всегда сохранял нечто свое, что, как правило, позволяло безошибочно отличить его от прочих персонажей сна, – возможно, потому, что за этим скрывалось его

особенное отношение к Давиду, которое трудно было передать словами, хотя оно и наводило, конечно, на мысль о серьезных отношениях учителя и ученика, или об идеальных отношениях отца и сына, и не только вело его по жизни при дневном свете, но и оберегало Давида в его ночных странствиях.

Однажды, когда в случайном разговоре он упомянул об этих превращениях, рабби Ицхак, рассмеявшись, отвечал ему в своей обычной манере, свойственной ему, когда приходилось говорить о себе. (За глаза Давид называл ее «Манера Ускользящей Откровенности», потому что, не вызывая сомнений в искренности говорящего, она почти всегда оставляла слушателя в неведении относительно собственного отношения рассказчика к излагаемым им фактам своей жизни, – так, словно факты эти были сами по себе, тогда как рассказчик, то есть сам рабби Ицхак, хотя и имел к ним какое-то отношение, но, скорее, лишь косвенное и вполне случайное).

– Похоже, – сказал рабби, отвечая на рассказ Давида об иешиве, – похоже, никто из нас не знает достоверно своей подлинной сущности, не знает самого себя. Поэтому нам не дано знать и своего назначения на этой земле. Смысл Творения в целом, открыт, конечно, только Всевышнему, – продолжал он с некоторой неуверенностью, наводящей на подозрение, что, в случае возражения, он готов немедленно отказать от своих слов.

– Можно, например, предположить, – сообщил он после небольшой паузы, – что отдельная человеческая жизнь длится, возможно, только ради одного единственного события, о смысле которого человек даже не догадывается... Да, представь себе, ради какого-нибудь, на первый взгляд, совершенно случайного события, которому он, возможно, даже не придает большого значения... Поэтому нет ничего невероятного, – добавил он, неожиданно улыбаясь, – нет ничего невероятного, если вдруг окажется, что я пришел в этот мир только затем, чтобы время от времени показываться тебе в твоём сновидении, о котором ты мне рассказал... Не так уж и плохо, – заключил рабби, не переставая улыбаться и не внося никакой ясности относительно того, заключалась ли в его словах скрытая ирония (как правило, призванная сгладить пробелы нашего знания), или же сказанное следовало понимать буквально (что невольно наводило на мысль о смирении, как наипервейшей добродетели, украшающей послужной список всякого праведника).

Что касается Давида, то он, скорее, был склонен соглашаться с последним.

Тем более что когда речь заходила о рабби Ицхаке, он всегда почему-то вспоминал сначала случайно подсмотренное выражение его лица, – такое, каким он видел его однажды, когда тот произнес свою известную фразу, причинившую ему позже немало хлопот.

– Еврей – сказал он тогда, – это всегда только смирение

и ожидание...

– В сущности, еврей – это всегда только смирение и ожидание, – произнес рабби Ицхак, опустив на стол развернутый номер «*Едиот ахронот*», который он только что читал.

На фотографии, помещенной в центре газетной полосы, стоял похожий на раздавленную коробку, развороченный взрывом автобус, окруженный полицейскими и санитарными машинами, запрудившими перекресток улиц Яффо и Кинг Джордж.

Он что-то еще добавил, впрочем. Что-то, что, пожалуй, можно было бы и не говорить. Ах, да.

– В противном случае, – добавил рабби Ицхак бен Иегуди Зак, – я уверен, что ему было бы лучше начать есть по субботам свинину.

4. Филипп Какавека. Фрагмент 10.

«Умирающая бабочка, лежащая в грязи на обочине осенней проселочной дороги в слякотный октябрьский денек, похоже что-то хочет сказать нам своим оранжевым и бархатисто-черным – таким нелепым здесь в своей яркости – узором и широко раскинутыми крыльями, уже едва дрожащими, но еще помнящими летнее солнце и тепло воздушных потоков, кружащих ее над цветущей землей, – что-то, что мы не услышали летом, и что теперь вряд ли поймем, обреченные всегда опаздывать и догонять истину, которую ведь все равно не догнать, если верить этой осенней дороге, и серой пелене, в которой тонет лес, и этому морозящему дождю, и этой еще зеленой, но уже обреченной траве, – всему тому, что, кажется, тоже хочет сказать нам что-то, что мы не умеем или не хотим вовремя услышать и понять».

5. Морг

Возможно, ты помнишь, как мы встретились тогда глазами, и ты чуть кивнула мне, ведь, слава Богу, мы были знакомы до этого уже не первый год. Это значит, что время от времени мы встречались то у общих знакомых, чаще всего у Феликса и у твоей сестры Анны, то на каких-то выставках и никому не нужных презентациях, а один раз мы даже отмечали в какой-то компании Новый год, впрочем, это было так давно, что я, конечно, уже не вспомню ни самого этого года, ни компании, ни тех, с кем ты была.

Несколько раз я видел вас вместе с Маэстро, – как-то в кинотеатре (показывали, кажется, Фассбиндера) – он махнул мне рукой и я ответил тем же, и лишь после заметил тебя, сидящую рядом и смотрящую в сторону, поверх голов. (*«Все фильмы Фассбиндера напоминают о зубоврачебном кабинете, – сказал он, когда мы вышли из кабинеты. – Тошно и стерильно».*) Впрочем, это было, кажется, позже, а до того я как-то столкнулся с тобой в его мастерской (шестой этаж старого дома без лифта, узкая лестница с выщербленными и обкатанными ступенями, страшный беспорядок в двух вечно прокуренных и пропахших краской комнатах, а за окнами мансарды – разноцветные крыши Города. Я легко представляю, как ты взбиралась по этим ступенькам, наклонив голову

и вполголоса чертыхаясь, зацепившись за выставленные на лестницу коляски или всегда открытые оконные рамы.) Кажется, это было месяцев за пять до того; я снимал его картины для какого-то каталога, он торопился, роясь в подрамниках и вытаскивая один за другим холсты, а ты сидела в глубине комнаты, между окном и заваленным рисунками столом – черное пятно среди цветных пятен, – и, напрягая память, я вспомнил позже коралловую нитку бус, и раскрытую сумку на столе, и длинную черную юбку, достающую почти до пола. Возвращаясь к той встрече (право же, в ней не было ничего символического, – в ней не было вообще ничего, что заслуживало бы внимания, – разве только то, что она отпечаталась в памяти и осталась вместе с другими, никому не нужными воспоминаниями, чтобы по прошествии многих лет напомнить о себе, удивляя точностью деталей и свежестью красок), я вспомнил позже даже скрип стула, когда ты встала, чтобы принести нам чай. Какое-то время спустя в памяти всплыло выражение твоего лица – поднятые брови и чуть выпяченная нижняя губа – когда ты сказала: «Я бы взяла еще вот эту». («А ты что скажешь?» – спросил он, обращаясь ко мне.), – и другое выражение, почти неуловимое, созданное едва заметным прищуром глаз и опущенными уголками губ, – когда ты заметила, что не видишь слишком большой разницы между полотнами последних лет и теми, трехлетней давности. «Ну, это как посмотреть», – отмахнулся Маэстро, продолжая возиться с картинами, – стирая пыль с подрамников?

отыскивая недостающую часть триптиха? – я почти не помню его тогда, лишь несколько фраз, да расстегнутая, когда-то песочного цвета рубаша, вспыхивающая под солнцем всякий раз, когда он проходил мимо открытого окна.

И еще раз мы оказались вместе совсем незадолго, на этот раз в помещении какого-то спортивного клуба, где открывалась его выставка. Клуб был на окраине, и гостей было совсем немного; я знал их всех, по крайней мере, в лицо, за исключением какого-то корреспондента с роскошной «Яшикой» на животе, – художники или их знакомые, кто еще поедет в такую даль ради двух-трех десятков развешанных в плохо освещенном зале полотен? – корреспондент слепил вспышкой то в одном, то в другом углу, и я не отставал от него, ловя в объектив знакомые лица и стараясь поймать на них выражение, сообразное происходящему (требование, которое я многожды раз слышал от Зямы Рубинчика, моего первого наставника в фотографии, который, впрочем, будучи человеком в высшей степени справедливым, никогда не забывал при этом добавить, что сообразное происходящему выражение не часто встретишь даже у покойников).

Корреспондент – он все-таки оказался, в конце концов, корреспондентом – заговорил вдруг с тобой по-французски, и ты отвечала ему – не слишком свободно, но достаточно уверенно, и я опять отметил это неуловимое выражение твоего лица, – еле заметный прищур и опущенные уголки глаз – загадочная смесь доброжелательности с почти вызывающим

равнодушием, – я успел поймать его в кадр и нажать затвор до того, как оно сменилось ничего не значащей улыбкой. Потом кто-то поманил меня в соседнюю комнату, где на канцелярском столе уже стояли две бутылки водки и какая-то закуска. Он уже был там, вечный черный свитер с засученными рукавами дополнял на сей раз белый воротничок рубахи, – рассеянная улыбка и покачивание головой в ответ на слова собеседника, легкое подмигивание в мою сторону и приглашающий жест в сторону стоящих бутылок. Потом, в сопровождении француза, появилась ты, и тобою тут же занялся Ру, который, кажется, давно уже был влюблен в тебя, – во всяком случае, таково было общее мнение, – он оттеснил француза, который, кстати, был на голову его выше, и принялся уговаривать тебя выпить за здоровье Маэстро (ну, хоть самую малость, позвольте, да тут всего один глоток), а сам Маэстро, повернувшись, молча смотрел на вас с улыбкой, пока Ру, наконец, не уговорил тебя, и к тебе потянулись через стол руки со стаканами, – конечно же, к тебе, ведь по какой-то нелепой случайности ты была здесь единственной женщиной (но вот еще вопрос, откуда взялось столько стаканов в этом Богом забытом месте?) И здесь я неожиданно увидел все происходящее совсем по иному, чем мгновение назад, словно в нем проступил его тайный смысл, который невозможно было передать словами, который можно было только случайно увидеть и подсмотреть, – тайный смысл, благодаря которому каждая черта, и каждое лицо, и движе-

нье, и взгляд оказались, наконец, на своем месте – и ты, странно помолодевшая, совсем девочка в окружении взрослых мужчин, и эти мужские лица вокруг, и черный свитер Маэстро, и поднятые стаканы, – безмолвный символ, за которым не пряталось ничего, кроме самого остановившегося времени, ставшего на мгновение совершенной формой (жарптицей, смеющейся над своими незадачливыми ловцами), а потому, не дожидаясь, пока это совершенство вновь обратится в фальшивую определенность, следовало поскорее втиснуть его в кадр, поймать, прежде чем оно развалится на отдельные лица, выражения, краски (впрочем, только затем, чтобы спустя день или два, полоская в проявителе мокрую бумагу с проступающими на ней пятнами, в который раз убедиться, что оно вновь ускользнуло от тебя, а с фотографии на тебя смотрит все то же, не знающее совершенства, время).

Вспышка слизнула комнату, и вслед за тем все вернулось на свои места. Феликс, кажется, поднял руку и попросил внимания, намереваясь сказать тост, и все это было почти накануне, кажется за неделю или чуть больше до того, как мы встретились с тобою глазами на дальнем больничном дворике, возле дверей морга, и ты кивнула мне, ведь, слава Богу, мы были знакомы уже не первый год, а теперь встретились возле самых дверей, – четыре стертые ступени под проржавевшим козырьком, к тому же мы не знали, что это служебный вход и, войдя, сразу же наткнулись на каталку с лежащим на ней под прозрачным полиэтиленом телом с повер-

нутой в нашу сторону головой и приоткрытым ртом. Ты не вцепилась мне в рукав и не остановилась, хотя переход от солнечного осеннего дня, который мы оставили за спиной, к липкому полумраку, густо напоенному запахом смерти, был достаточно резок даже для меня. Я помню, как ты решительно толкнула следующую дверь, и я вошел вслед за тобой в это царство смерти, до краев наполненное осенним солнцем, теплом и цветами. Сидящий за столом санитар читал книгу, он посмотрел на нас безо всякого интереса и вновь опустил голову. Кто-то, уж не помню – кто из сидящих поднялся тебе навстречу. Кивнув Феликсу и Анне, я сел на свободное место. На коленях у Анны лежал букет белых гвоздик. Простой гроб был закрыт и, кажется, уже заколочен, потому что сбившая Маэстро машина протащила его за собой несколько метров, выбросив затем под колеса идущего навстречу грузовика. Через распахнутые прямо во двор большие стеклянные двери ярко било осеннее солнце, мы сидели молча (хотя, быть может, на этот раз мне изменяет память), пока, наконец, вошедший распорядитель не предложил всем присутствующим начинать собираться. Потом во двор начал медленно въезжать автобус и тень от него легла на желтый кафельный пол, на гроб и на лица провожающих. Было утро, должно быть, где-то около десяти.

6. Филипп Какавека. Фрагмент 14

«МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ. Философия, пожалуй, самая чистоплотная особа на свете. Помилуйте! Она даже не подозревает, что в мире существуют такие вещи, как свалки нечистот и отхожие места. Велика ли важность – отхожее место? Но откуда нам это знать а priori? Задача философии, в конце концов, выяснить все, в том числе, разумеется, смысл и значение отхожих мест. И вот вместо этого она воротит от них свой нос и закрывает глаза, делая вид, что их просто не существует. Скажут, что философия только послушно следует туда, куда ведет ее Истина. И верно! Чистоплотная Истина, целомудренная Истина, окрашенная в розовое и голубое, – разве не она требует от нас чистоты в качестве необходимого условия своего собственного познания? Однако приглядимся: эти розовые тона – не чахоточный ли румянец? А эти манящие голубые блики – не синюшные ли это пятна, которые не скрыть никакими притираниями? Истина больна, – всякая Истина больна – той загадочной и странной болезнью, которой боги наградили когда-то фригийского царя: все, до чего бы он ни дотронулся, немедленно превращалось, как мы помним, в золото. Не то же ли и с Истиной? К чему бы она ни притронулась, чего бы ни коснулась, все тотчас же обращается в ликующие песнопения и

цветущие сады. Здесь кроется разгадка и философской чистоплотности: философия вовсе не отворачивается от отхожих мест, – она превращает их в сады и розарии, точно следуя тому, чего требует от нее Истина. Это, конечно, болезнь, метафизическая болезнь, ничуть не менее опасная, чем болезнь Мидаса. И, подобно тому, как обращенный в золото хлеб не спасает от голода, так и преобразенный в розарий мир ничуть не в состоянии избавиться от грязи и нечистот, которые по-прежнему не только пугают, но и манят нас, хотя бы уже тем, что они существуют наперекор Истине и помимо нее. Впрочем, грязь и нечистоты остаются на наше полное усмотрение. Потому-то вольно или невольно мы всегда вынуждены выбирать между двумя или даже тремя «или», не сомневаясь при этом, что, сколько ни выбирай, а все останется на своих местах: и Истина, ничего не желающая знать о грязи, и грязь, не желающая обращаться в цветущий жасмин, и, наконец, наша загадочная неспособность не только выбирать между реальностью и иллюзией, но, зачастую, просто отличать одно от другого. Похоже, что последнее тоже есть своего рода болезнь, метафизическая болезнь».

7. Тетрадь Маэстро

Но, даже допуская, что наша возможная встреча перед дверью морга была в высшей степени символической, – словно кто-то развернул перед нами спрессованное в одно мгновение будущее, – даже допуская это, трудно было отделаться от сомнений, что в действительности все эти символы и знаки были лишь игрой запоздалого воображения, легко вычисленной фантазией, вытекающей из вечной человеческой потребности в устойчивости и порядке. Ведь, в конце концов, символическое значение того или иного факта, как правило, распознается лишь по прошествии времени, властвуя исключительно над прошлым, благодаря чему утрачивает свой первоначальный смысл, который состоит только в том, чтобы предостерегать, защищать и оберегать нас от вторжения в нашу жизнь таинственных и непонятных сил, – ибо кому, в противном случае, нужны эти запоздалые предостережения и невнятные знаки, легко поддающиеся разгадке задним числом и с неизбежностью исполняющиеся прежде, чем ты успеваешь понять смысл происходящего?

И все же, несмотря ни на что, он все равно продолжал отыскивать эти сомнительные знаки, эти указывающие правильное направление магические отметины, смысл которых заключался в том, чтобы в очередной раз растолковать тебе

все случившееся, расставив все по своим местам и сделав, наконец, все события прошлого осмысленными, понятными и не вызывающими сомнений.

Одной из таких отметин стала общая тетрадь в синем коленкоровом переплете, которую Давид увидел однажды на кухне Феликса во время одного из субботних вечерних чаепитий, которые с некоторых пор стали уже почти традицией.

Толстая тетрабочка, на обложке которой была аккуратно выведена большая буква «М».

– Нет, ты видел? – говорил Феликс, разводя руками, словно призывал присутствующих разделить с ним удивление от свалившегося на него подарка. – Оказывается, она записывала за нашим Маэстро все, что он говорил. Слово в слово... Каково?

– Только то, что мне казалось интересным, – сказал Ольга.

– Только то, что ей казалось интересным, – повторил Феликс. – Ну, ничего себе!.. А то, что не казалось интересным, с тем что?

Было похоже, что он и в самом деле удивлен и обрадован.

– А ты не знал? – спросила Анна со странной, почти незаметной усмешкой, – так, словно она давно уже знала кое-какие обстоятельства обсуждаемого предмета, но не хотела, чтобы это становилось известно широкой публике.

– Конечно, я не знал, – сказал Феликс. – Откуда, интересно, мне было это знать, подумай сама?.. Разве я похож на человека, с которым все спешат поделиться последними ново-

стями?

– Ты похож на человека, который любит все, кроме новостей, – сообщил Ру. – Вопрос только, в том, насколько сильно ты не любишь этих бедных крошек.

– Ты так говоришь, как будто я сделала что-то неприличное, – сказала Ольга.

– Конечно, нет, – сказал Феликс. – Я просто удивился, что ты ничего нам до сих пор не говорила, вот, собственно, и все... Почитать-то хоть можно будет?

– Почитай, – сказала Ольга, подталкивая к Феликсу толстую общую тетрадь в синем коленкоре.

Давид восхищенно присвистнул.

– Господи, – сказал Феликс, открывая тетрадь и листая страницы. – Да тут наберется на солидную книжку.

– Даже не думай, – быстро сказала Ольга, заставив тогда Давида впервые насторожиться, хотя для этого вроде бы не было пока никаких серьезных поводов.

В конце концов, она не сказала ничего особенного.

Ничего, кроме этого *«даже и не думай»*, которое недвусмысленно давало понять всем окружающим, кто является настоящим хозяином этой тетради, вольным распорядиться ею так, как он посчитает нужным.

Тайна, о которой и без того прекрасно догадывались все присутствующие.

– Ладно, – Феликс быстро раскрыл тетрадь. – Поживем, увидим. Интересно только – насколько точно ты все записы-

вала?

– Можешь не беспокоиться, – сказала Ольга, и Давиду вновь показалось, что в ее голосе прозвучала едва различимая враждебная нотка.

– На вашем месте, дорогие мои, прежде чем спорить, я бы сначала прочитала сам текст, – не отрываясь от вязанья, заметила Анна.

– Конечно, – сказал Феликс, листая тетрадь. – Конечно, мы читаем все до последней строчки. Можешь не сомневаться.

– Буду только рада, – Анна, похоже, даже не скрывала того, что в ее словах кроется нечто большее, чем то, что слышали все окружающие.

Так, – мелькнуло в голове у Давида, – словно ей выпала возможность вновь напомнить присутствующим: что бы мы там ни говорили и что бы ни делали, мы все равно останемся только реками, несущими свои темные воды мимо вечерних берегов, – метафизическими реками, прячущимися от того, что они отражают, подобно убегающему пророку Ионе, которого Небеса взвесили и нашли легким и неспособным сказать «да будет!».

Кажется, одна из первых записей этой толстой тетради в синем коленкоре гласила:

«Настоящее всегда опознает себя только в своем прошлом, Оно обретает себя во вчерашнем дне, обращаясь в слово и мысль, то есть, обретая язык, но навсегда теряя се-

бя, как настоящее. Сейчас – это всегда вчера или когда-то. Смысл настоящего самого по себе – утерян для нас. Не менее вероятно, что этот смысл, быть может, не существует вовсе; во всяком случае, доведись нам узнать его, он ничуть не напомнил бы нам то, что предлагает нам наша память. Вот почему оно так неуверенно в себе, это Настоящее, не знающее ни отдыха, ни сна, ни покоя

Тогда, в самые первые дни, он лишь пытался нащупать какую-нибудь нить, на которую можно было бы нанизать весь этот хаос торопливо сделанных записей, заключенных в общей тетради в синем коленкоровом переплете.

Вероятно, поэтому эта запись ускользнула от него тогда, чтобы вернуться позже, когда – в точном соответствии с ее содержанием – приходилось признать (или, во всяком случае, заподозрить), что и сама она, – с точки зрения и ее происхождения, и последующих событий, – явилась своеобразным предупреждением, косвенным намеком, – глухим и невнятным, – каким, собственно, и полагалось быть *предупреждению*, посланному из Царства мертвых.

Позже Давид обнаружил в этой записи какую-то магическую прелесть (свойственную, впрочем, многим записям Маэстро), – этакую изящную игру, в которой слова служили только для того, чтобы очертить какую-нибудь замысловатую фигуру или пространство, чтобы затем стремительно унести прочь при первой же попытке внимательного прочтения и, вместе с тем, остающихся на месте, лишая тем са-

мым зрителя возможности сосредоточиться и остановиться на чем-нибудь одном и вынуждая его опять и опять искать несуществующую точку опоры (что, как правило, вызывало естественное и довольно понятное раздражение).

Эта запись была, кажется, именно такого рода. Во всяком случае, Давид воспринимал ее именно так, ибо предостерегая, она, в то же время, свидетельствовала своим собственным содержанием о невозможности каких бы то ни было предостережений, а вселяя тревогу, отрицала свой собственный смысл, поскольку сама эта тревога служила предостережением, демонстрируя тебе некий двоящийся мир переходящих друг в друга призраков.

Конечно, он ни на минуту не забывал, что это было только *предостережение*, – нечто, что еще только требовалось доказать, как любил повторять к месту и не к месту Ру, хотя и без всякого Ру было понятно, что возвращение к этой записи все равно было почти неизбежно, хотя бы потому, что сама тема времени занимала у Маэстро столько места, что это трудно было посчитать простой случайностью.

– На мой взгляд, все выглядит достаточно банально, – заметил как-то Феликс, когда, в который уже раз, мы вернулись к этой теме. – Одно то, что художник имеет дело только с пространством, невольно вынуждает его не замечать, что на свете существует еще и такая замечательная вещь, как время. Пространство, которым он занят, просто не нуждается во времени. Оно вообще ни в чем, кроме самого себя не нужда-

ется, потому что оно разворачивается из себя и живет только собой. И при этом, спешу обратить ваше внимание, оно и не желает никаких изменений, – любое изменение было бы для него, как для целого, катастрофой. Оттого пространство, которое разворачивается на полотне, всегда враждебно реальному времени, оно его просто не хочет знать и не знает. Возьмите любую картину, – причем, не важно, будет ли это Тициан или Миро, – лично я часто ловлю себя на ощущении, что они просто издеваются над нами. Понятно, что всякое искусство самодовольно, но живопись самодовольна в особенности. Это значит, что живописное пространство вовсе ничего не изображает, вот что я хочу сказать («Ну, уж и ничего?» – сказал кто-то). Оно занято только тем, что орет во всю глотку, что ему удалось сожрать время. И больше ничем. Поэтому художник, если хотите, всегда еще немного и убийца, да еще с комплексом вины перед убитым им временем. А история живописи – это история умерщвления времени. Возьмите хотя бы «Черный квадрат». Все что он говорит, это то, что Царство времени закончилось и началось что-то другое, чему нет даже имени... А теперь я вам скажу, что отсюда следует...

– Вероятно, нечто, что заставить нас всех содрогнуться от собственной ограниченности, – предположил Левушка.

– Вот уж в чем можешь не сомневаться, – не отрывая глаз от лежащей на коленях книги, усмехнулась Анна.

Мы снова сидели на кухне у Феликса и Анны, – кухне,

скорее напоминавшей кабинет из-за громоздившихся по стенам книжных полок, которым не нашлось места в комнатах – впрочем, оранжевый абажур над столом и пестрые клетчатые занавески, как и знаменитая коллекция пустых бутылок, не давали забыть, что это пристанище зовется все же кухней, и что только здесь, в действительности, возможен недолгий покой и уместны вечерние беседы, потому что – какая-никакая – а кухня все же остается подобием очага, она хранит память о закопченных стенах и согревающим огне, чью ускользающую тень, если приглядеться, можно было распознать как в электрическом свете оранжевой лампы, так и в синем пламени газовой конфорки. Я не удивился бы, если кто-нибудь стал бы вдруг серьезно настаивать на том, что только здесь имеют смысл слова, которые произносил Феликс (да, впрочем, и все мы), тогда как в любом другом месте они выглядели бы и неуместно и смешно. Мне самому время от времени приходило в голову, что все, что мы произносим, нуждается, в первую очередь, в своем собственном пространстве, которое приняло бы наши слова, дав им возможность ожить и раскрыться в полной мере, – или же, напротив, отвергло бы их, обрекая на насмешки и скорое забвенье. Впрочем, на этот раз все было в совершенном порядке. И художник, обреченный испытывать чувство вины перед временем, которое он убивает, и сама вина, вытекающая из переживания того, что время, все-таки, есть всегда нечто более значительное, чем застывшее в своем самодовольстве пространство, –

да, пожалуй, эта кухня была самым подходящим местом для подобных сплетений, потому что только здесь становилось понятным (во всяком случае, принималось в качестве допустимого), что причину этой неудовлетворенности следовало бы все-таки искать где-то здесь, ибо живописное пространство, прикидываясь решением, на самом деле, всегда мертво («Побойся Бога, золотце», – негромко сказала Анна). Впрочем, никто так хорошо не знает этого, как тот, кто сотворил его, потому что, на самом деле, ему нужно совсем не это застывшее красочное пятно, а нечто совсем другое.

– Если я правильно понял, – сказал Левушка, – то мы как всегда вплотную приблизились к неразрешимой проблеме господина Пигмалиона?

– Если угодно, – подтвердил Феликс.

– Тогда я позволю себе вставить небольшое замечание, которое, надеюсь, кое-что прояснит.

– Сделай такую милость, – сказал Феликс.

– Я только хотел сказать два слова о природе живописного пространстве.

– Ого, – негромко сказал Ру.

– Для этого я спрашиваю, как вообще оно возможно, это пространство, и в чем его сущность? И отвечаю – сущность живописного пространства заключается в его завершенности, свершенности, в его, если хотите, невозможности стать другим. Его тайна заключается в том, что оно уже достигло своего совершенства, стало, так сказать, взрослым, способ-

ным удержать свое содержание, которое оно противопоставляет всему миру, занятое исключительно только собой... Не знаю, что вы думаете, но, по-моему, это хорошая мысль.

– По-моему, это совсем неплохо, – сказала Анна, отрываясь от книги. – Пространство, которое стало взрослым... Разве нет?

– Конечно, нет, – возразил Феликс, похоже, задетый реакцией Анны. – Я против и притом – категорически и принципиально... Господи, о чем вы говорите! Пространство всегда инертно и всегда готово подчиниться тому, что приходит извне... Почитай хотя бы Арнхейма.

– Непременно, – сказала Анна.

– Побойтесь Бога, ребята, – сказал из своего угла Ру. – Маэстро – гений, и этим все сказано.

Разумеется, ответом ему был укоризненный взгляд обоих.

– У одного философа сказано, что гений – это человек, который безрезультатно ищет ключ к несуществующей двери, а затем пытается выдать эту безрезультатность за некий результат, – снисходительно сказал Левушка. – Вот это мы, как раз, и пытаемся сейчас выяснить: насколько безрезультатными были попытки Маэстро.

И повернувшись в сторону Анны, добавил:

– Кстати, если уж говорить о результатах, то кофе был просто божественный

– Спасибо, – сказала Анна и улыбнулась. – Это Феликс варил.

– В таком случае, беру свои слова назад, – сказал Левушка. – Между нами говоря, кофе был довольно невыразительный.

– Не нравится, не пей, – сказал Феликс.

– Между прочим, – обиженно сообщил Ру, – если вы еще не забыли о чем шел сегодняшний разговор, то я могу вам об этом напомнить.

– Не надо, – сказал Левушка.

– А по-моему, так очень даже надо, – сказал Ру. – Потому что он касался в первую очередь того, что живопись только тем и занята, что раскрывает время и в этом ее главный смысл.

– Конечно, она раскрывает, – мягко протянул Феликс. – Но только мы не об этом.

– Да уж, – сказал Левушка. – Если живопись что и раскрывает, то только свое собственное желание раскрыть то, что оно хотело бы видеть раскрытым ... Надеюсь, вы меня поняли.

Давид посмотрел на Левушку с интересом.

Кажется, Ру хотел было что-то возразить, но передумал и только махнул рукой.

– Еще одну минуточку, – сказал между тем, Левушка, соскользнув с подоконника и возвращаясь на свое место за столом. – Мне кажется, что, вероятно, стоило бы все-таки говорить не о времени, которое, в конце концов, есть только невразумительная абстракция. В действительности же суще-

ствуует нечто, что все мы, каждый на свой лад, пытаемся поймать, но что всегда ускользает, оставляя нам, в лучшем случае, красивый мрамор, который потом пылится где-нибудь в музее. («Это еще в самом лучшем случае» – подтвердил Феликс.) Собственно, время, – время, это всегда только ускользание того, что мы ищем. Мы блуждаем в поисках постоянства, но оно существует для нас только как ускользающее. Мы даже не знаем его имени. Это, как охотник и заяц: *modus vivendi* зайца – бегство, а *modus vivendi* охотника – преследовать и убивать. Но убитый заяц годится разве что на жаркое. И мне кажется, что это противоречие между тем, что мы ищем и его вечным ускользанием – единственное, что вообще заслуживает внимания. Поэтому, например, меня не очень удивляет, что Маэстро занимала эта тема...

– Занимала? – негромко переспросила Анна.

Конечно, мы одновременно посмотрели друг на друга, я и Ру, и слегка кивнули, что должно было значить: ну, разумеется, Анна, как всегда, великолепна. Кто-кто, а уж она-то никогда не упустит случая поставить все на свои места, так, чтобы не оставалось уже никаких сомнений. И самое замечательное, что она всегда делала это совершенно бескорыстно, из одной только любви к порядку, и тут, конечно, оставалось только заткнуться, потому что – что, собственно, можно было возразить против порядка, который (и это можно было прочесть во всех книгах, стоящих и здесь на кухне, и в двух других комнатах) воплощал собой покой совершенства,

да, вдобавок еще, олицетворял ту самую справедливость, которая, не вникая ни в какие подробности и обстоятельства, расставляла все на свои места...

– Банальность – это характеристика не предмета, а всего лишь того места, с которого мы его рассматриваем, – отвечая Левушке, заметил Феликс.

– Вот именно поэтому, – сказал Ру, вновь загнанный в угол.

– И все-таки, ты сказал: занимала, – негромко повторила Анна.

8. Феликс и Анна.

Первое явление Анны

Разумеется: все мы уже давно смирились с тем, что Феликс и Анна – это одно неделимое целое, некое маленькое андрогинное царство, задуманное еще до сотворения мира, алмазная монада, повернутая внутрь самой себя, и только внешне являющаяся в образе двух отдельных людей, одного из которых зовут Феликс, а другого – Анна. Анна – Феликс, Феликс – Анна, – мы хорошо знали, что это только различные имена, которые обозначают одно и то же (подобно множеству божественных имен, которые указывают на одну сущность), поэтому, когда мы говорили о Феликсе, как-то само собой подразумевалось, что речь идет также и об Анне, – хотя, пожалуй, еще вопрос, как заметил однажды Ру, подразумевается ли Феликс, когда разговор заходит об Анне. А потому – добавил он со свойственной ему любовью обращать самые простые мысли в милые философские абракадабры, – следовало бы пользоваться этой формулой с осторожностью, ибо греша двусмысленностью, она, пожалуй, легко могла ввести в заблуждение, поскольку подразумеваемое всегда ощущается, как нечто более значительное, подобно тому, – добавил он, – как сущность, являясь нам,

хотя и позволяет говорить о себе, но лишь как о явлении, и никогда, как о сущности.

(«По своему характеру философия подобна щипцам для орехов» – заметил где-то Маэстро. И добавил, что орехи, разумеется, важнее.)

Как бы то ни было, оно все же существовало, это царство чужого согласия, эта вещь в себе, стеклянное море, в которое нельзя было погрузиться и оставалось только скользить по его поверхности, в лучшем случае – наблюдая, как мелькают в глубине загадочные и непонятные тени. «Какой-то сплошной филоменобавкидизм», – как заметила однажды Ольга.

Да, Филомен и Бавкида, Бавкида и Феликс, Анна и Филомен, – но в этом замечании не было ни капли восхищения, скорее – хорошо скрытая досада, потому что, в конце концов, не было ничего удивительного, когда человек замыкается в своем собственном царстве, исчезает за своими границами. Сколько песен пропето одиночеству, – вероятно, столько же, сколько произнесено проклятий, – но все выглядит иначе, когда стена прячет двоих, в этом мерещилась какая-то несправедливость, какое-то надувательство, словно перед твоим носом вдруг захлопнули дверь, – я сказал «мерещилось», а это значило, что все происходило наперекор здравому смыслу, который немедленно заставлял тебя устыдиться, – бам! и сразу вслед за тем щелчок никелированного замка, и, как правило, это случалось именно тогда, когда по рассеянности ты уже собирался переступить порог, забыв

о неприкосновенности разделяющей вас границы.

Впрочем (и тут здравый смысл, наконец, вступал, конечно, в свои права) – никаких претензий. В конце концов, каждый волен проводить границы там, где он считает нужным. Тем более что для тех, кто оказался по эту сторону, всегда оставался простор для тщательного наблюдения и непредвзятого анализа, глядя на которые, правда, трудно было отделаться от ощущения, что ты исследуешь только внешнюю сторону фактов и событий, тогда как все прочее оставалось только в области домыслов и шатких гипотез.

(«Наши мысли, слова и представления стираются от долгого и безнадежного соприкосновения с действительностью, – записал на одном из клочков бумаги Маэстро. – Наконец, они умирают, потому что их собственная природа обрекает их на пустоту. Действительность не нуждается в словах, но именно поэтому она всегда остается в одиночестве, – по ту сторону

– Последняя фраза кажется мне совершенно излишней, – сказал Феликс. – Что это значит – по ту сторону? Если речь идет всего лишь о том, что мы не в состоянии приблизиться к реальности, то это достаточно тривиально, или, во всяком случае, требует серьезных аргументов. К тому же весь отрывок выглядит, как поэтический образ, тогда как последняя фраза подана в качестве точного вывода, а это несерьезно...

На мгновение за столом воцарилось неловкое молчание.

– Я и не знал, что среди нас есть люди, чуждые поэзии, –

укоризненно сказал, наконец, Ру. – Это новость.

– К тому же, печальная, – отметил Давид.

– Господи! – сказал Феликс. – Я только сказал простую вещь, которая должна быть понятна даже таким одноклеточным, какими являетесь все вы! – Он чуть привстал, вытянув руку и указывая то на Ру, то на Давида. – Кто смешивает жанры, тот неясно мыслит, вот все, что я хотел сказать. Я не против метафор, но не тогда, когда разговор идет об эпистемологии.

– Мы не против метафор, – сообщил Ру, подмигивая Давиду. – В целом, мы, конечно, за.

Тот согласился, добавив при этом, что, как ни крути, метафора – дело святое.

– К тому же, он обозвал вас одноклеточными, – наябедничал Левушка.

– Тьфу на вас, – отмахнулся Феликс.

– Тьфу, это не аргумент.

– Можете мне не верить, – сказал Феликс, – но в этом случае трудно найти аргумент лучше.

– Хочу напомнить присутствующим, – сообщил Левушка, разливая остатки водки, – хочу вам напомнить, дураки, что если уж говорить о метафоре, то метафора нужна нам только для того, чтобы продлить миг. Не знаю, что думаете по этому поводу вы, но, по-моему, это хороший повод для того, чтобы культурно выпить.

– Где-то я уже это слышал, – сказал Ру. – Кто это сказал?

– Про выпить сказал я, а про метафору, кажется, Борхес. И еще неизвестно, кто сказал лучше.

– Мне кажется про выпить лучше сказал ты, – польстил Давид.

– Согласен, – кивнул Левушка. – Про выпить лучше сказал я, а про метафору Борхес... Каждому свое.

– Если мне будет позволено вмешаться, – сказала вдруг Анна, поднимая от вязания голову, – если никто не станет возражать, – продолжала она, неожиданно вмешиваясь в разговор, хотя, сказать по правде, эта неожиданность никого из присутствующих не удивила, поскольку в случае с Анной она, как правило, всегда *ожидалась*, всегда маячила где-то совсем рядом, причем, даже тогда, когда казалось, что Анна была за тысячу километров от нас, занятая какой-нибудь книгой, чаем или своими вечными спицами.

– Интересно, кто бы стал возражать, – поинтересовался Левушка.

– Мы все во внимании, – сказал Феликс.

Чуть помедлив, Анна продолжила:

– Тогда я бы сказала, золотце, что у Маэстро в этом отрывке идет речь совсем о другом. И уж во всяком случае, не об эпистемологии.

– Вот, – сказал Ру, приглашая всех обратить внимание. Впрочем, это «вот» вполне могло означать и совсем другое. Например, оно могло служить чем-то вроде предупреждения, указывающего на то, что нам, возможно, представилась

редкая возможность заглянуть за закрытую дверь, проникнуть на мгновение в таинственную глубину, лежащую за спокойной поверхностью стеклянного моря, успеть разглядеть мелькнувший за стеклом загадочный силуэт.

– Мне кажется, – продолжала Анна, – он просто хотел сказать, что реальность не меньше нас переживает свою неспособность пробиться сюда, к нам. Мы для нее тоже – по ту сторону, понимаешь?.. («А-а», – сказал Феликс откуда-то издалека.) И все, что она находит у нас, – это только наши слова и больше ничего. Поэтому он говорит: действительность не нуждается в словах. Знаешь, что это значит?

Она повернула голову и посмотрела за окно, где уже во всю силу разгорался яркий закат.

– Это значит, милый, что она нуждается в чем-то другом. Наверное, так же, как и все мы.

– Мне кажется, это совершенно необязательно, – сказал Левушка, впрочем, неуверенно и вполголоса.

– Понятно, – Феликс слегка качнул головой и пожал плечами, словно ничего другого он и не ожидал. – Склонность к антропоцентризму, как известно, является признаком младенческого мышления, и тут уж ничего не поделаешь. Но, к счастью или к несчастью, действительность вообще ни в чем не нуждается. И уж меньше всего, в наших сомнительных рассуждениях относительно последней истины.

Странно, но Анна почему-то и не думала ему возражать. Вместо нее открыл рот Давид, который сказал:

– Это смелая гипотеза. Хотя мне попадались гипотезы и посмелее.

– Несомненно, – протягивая руку к коньячной бутылке, отметил Левушка. – Есть гипотезы посмелее, но трудно придумать более ненужную. Да, вот хотя бы, – продолжал он, разливая коньяк. – Имеет ли этот коньяк отношение к действительности или вовсе никакого («Имеет», «Не имеет», «Самое прямое», – сказали одновременно Феликс, Давид и Ру) ясно, что не это самое главное... Да, дайте же мне сказать, дураки! Существенно только то, что мы его все равно рано или поздно выпьем. Это, во-первых. А во-вторых, поскольку другой коньячной действительности для нас на сегодняшний день не существует, мы будем скромно довольствоваться тем, что имеем...

– Аминь, – сказал Ру.

– В слове «довольствоваться» мне слышится легкий запах мученичества, – сказал Давид, лениво констатируя этот очевидный факт безо всякого, впрочем, энтузиазма, из одной только привычки находить в чужих аргументах уязвимые места. Можно было бы и промолчать.

– В конце концов, – сказал Левушка, – я только кратенько изложил мнение великого Какавеки, с которым я в этом пункте совершенно солидарен. («Ты солидарен со Штирнером», – сказал Ру.) Если мы далеки от действительности, – продолжал он, подняв свою стопку, – то и хрен с ней, с родной. Другими словами – ей же хуже, если мы далеки... Ведь

никто не станет отказываться от коньяка на том основании, что его действительная природа нам неизвестна. Или я ошибаюсь?... Феликс?

– Не знаю, как у вас тут, а у нас, в России, коньяк отдаляет от родины, – закрыв ладонью рюмку, сообщил Феликс. Похоже, подумал Давид, он сильно перебрал. Глаза его блестели, словно от повышенной температуры.

– Отчего, пардон? – не понял Давид

– От Родины, – и Феликс почему-то показал на пустую бутылку водки, которую еще не убрали со стола.

– Ты это серьезно? – спросил Ру.

– Абсолютно, – кивнул Феликс, для пущей убедительности пристукнув ладонью по столу.

– Тогда выходит, что рассол, наоборот, приближает, – сказал Ру.

– Логично, – согласился Давид

– А вот мне кажется, что вы отклонились от темы, – сказал Левушка. – Жалкие шовинисты. Кого коньяк отдаляет, тот может не пить... Анна?

– Да, – кивнула Анна. – Чуть-чуть... – Потом она протянула Ру свою рюмку:

– Не знаю, правда ли, что мы далеки от действительности, но я очень хорошо могу себе представить, что она так же одинока, как и все мы здесь. Я даже могу предположить, что у нее тоже есть свои пустые слова, которыми она пытается зацепить нас и при этом безо всякого успеха. И они тоже

стираются о нас, так же, как стираются наши. – Она улыбнулась и добавила негромко, словно извиняясь. – Такое вот мучение и по ту, и по эту сторону.

Левушка и Ру выпили и одновременно посмотрели на Анну.

– Метафизический ужас, – сказал Левушка, одновременно закусывая. – Все, что нам остается, это сидеть и дожидаться, пока они, наконец, не сотрут друг от друга и не остановят этот метафизический кошмар.

– Чем мы, собственно говоря, и занимаемся, – сказала молчащая до сих пор Ольга.

– Конечно, – согласилась Анна, не поднимая глаз. – Мы занимаемся именно этим. Но зато нас может утешать мысль, что когда они сотрут, не будет больше ни той, ни этой стороны. А этот ваш Какавека, – сказала она, и, поджав губы, сморщила нос, так словно одно только упоминание об этом предмете могло вызвать тошноту. – Этот ваш Какавека...

– Что такое? – спросил Ру.

Она покачала головой, как будто хотела освободиться от неприятных воспоминаний. Затем сказала:

– Не хочу никого обижать, но иногда он напоминает мне крысу, которая больше всего на свете дорожит своим хвостом.

– Очень поэтично, – засмеялась Ольга.

– Все, все, все, – Феликс протянул руку к коньячной бутылке. – Довольно. Я признаю, конечно, что по части спасе-

ния души ты весьма преуспела, но, поверь мне, радость моя – философская герменевтика – это совсем не то же самое, что богословская экзегеза.

Было похоже, что блестящие глаза его смотрят от выпитого в разные стороны.

– Я тебе верю, золотце, – сказала Анна. – Только, пожалуйста, больше не пей.

– Ты, наверное, забыл, – Левушка показал на коньячную бутылку, которую держал Феликс. – Разве коньяк не отделяет от Родины?

– Плевать, – сказал Феликс, наливая себе полную стопку.

– Интересно, на кого, – спросил Левушка. – На родину или на коньяк?

– И все-таки, я бы хотел сказать несколько слов в защиту рассола, – неуверенно начал было Ру.

9. Поминальные разговоры

Уже потом, не раз и не два, он вновь вспоминал, как эта, забившая три комнаты, толпа вдруг вынесла их в пустую в эту минуту кухню, – словно быстрый ручей вынес вдруг два упавших в него листка в тихую заводь, где вода была почти неподвижна и можно было передохнуть от бессмысленного бега спешащего неизвестно куда ручья.

Пожалуй, это было даже похоже на чудо: толпа, гудящая за закрытой застекленной дверью и пустая кухня, в которую почему-то никто не рвался.

– Черт, – нервно сказала она, опускаясь на единственный на кухне стул и выпуская прозрачное облако клубящегося дыма. – Господи, как хорошо... Хоть немного передохнуть от этих идиотских разговоров...

– Да уж, – согласился Давид, опускаясь вслед за ней на пол возле холодильника. – Если, конечно, они сейчас не бросятся сломя голову сюда.

– Бедный Маэстро, – она стряхнула пепел на пол. – Ты не заметил?.. У меня такое впечатление, будто они обгладывают его как собаки кость.

– Что-то в этом роде, – сказал Давид, продолжая удивляться, что кроме них на кухне больше никого нет. – Но ведь это поминки. Чего ты еще ждала от поминок?

– Ничего, – она вновь выпустила в лампу клубящийся сигаретный дым. – Но, как правило, почему-то всегда ждешь сначала чего-нибудь хорошего.

– Сначала, – повторил Давид.

– Сначала.

Она улыбнулась.

Похоже, это был хороший признак.

Странно, но повисшее затем молчание было совсем не в тягость. Потом она сказала:

– Просто какие-то идиоты. Половину из них я вижу в первый раз...

– Есть такие специальные люди, – сказал Давид. – Их встречаешь только на поминках.

Она негромко засмеялась. Потом спросила:

– А ты видел этого лысого в клетчатом пиджаке?.. Он десять минут рассказывал, как замечательно Маэстро умел открывать зубами пиво... – Она негромко фыркнула и выругалась. – Ты видел когда-нибудь, чтобы он открывал зубами пиво?

– Нет, – сказал Давид. – Не видел. А этот лысый в пиджаке, это Хванчик. У него галерея.

– И черт с ним, – сказала Ольга. – И с его галереей тоже.

– Да, – согласился Давид, изо всех сил желая, чтобы никому не пришло в голову зайти на кухню. – Говорят, что он на свободе только потому, что сдал всех, кого только можно.

– Оно и видно, – она на мгновение исчезла в клубах дыма.

Еще одна пауза, легкая и естественная, как будто они дали друг другу немного времени подумать и передохнуть, прежде чем продолжить этот ни к чему не обязывающий разговор.

– Представить себе не могу, – сказала она, наконец, вновь нервно стряхивая пепел на пол. – Просто какой-то бред... Мы ведь еще в четверг были с ним в кино... Ты представляешь?... В этот самый чертовый четверг...

Она засмеялась.

Холодно и насмешливо, словно давая кому-то понять, что ничего другого, пожалуй, и не ожидала.

На этот раз его не обмануло, что ее глаза смотрели прямо на него, тогда как на самом деле ее взгляд плутал где-то далеко, возможно, в том самом четверге, которому уже не суждено было никогда повториться, – ну, разве что в сновидениях, которые приходят, не требуя нашего согласия, чтобы затем снова оставить нас наедине с нашей болью и нашими вопросами.

– И что вы смотрели? – спросил он, подозревая, что вопрос может показаться не совсем уместным. В ответ Ольга только усмехнулась и спросила:

– Думаешь, это имеет какое-нибудь значение?

– А черт его знает, – пожимая плечами, сказал Давид. – В последнее время я что-то плохо стал понимать, что имеет значение, а что нет.

– Это плохо, – она даже не старалась придать своему голо-

су хоть немного сочувствия.

– Бывало и хуже, – не удержался Давид, почувствовав легкую обиду. Впрочем, это, пожалуй, было уже лишним. В конце концов, не самое подходящее время, чтобы делиться своими болячками, до которых, на самом деле, никому не было дела.

Она потушила сигарету и посмотрела в окно, за которым уже стояла черная южная ночь. Потом спросила:

– Видел Мордехая?

– О, – сказал Давид, радуясь, что предыдущая тема разговора, наконец, себя исчерпала. – И даже разговаривал... Чувствую, что он готовит мне какой-то сюрприз, вот только не знаю еще какой.

– Сюрприз, – сказала она равнодушно. – С чего бы это?

– Народная примета, – сказал Давид. – Когда Мордехай смотрит тебе прямо в глаза и не мигает, то это значит, что ему от тебя что-то очень надо... Никогда не обращала внимания?

– Ужас какой, – сказала Ольга и мелко захихикала. – Еще приснится, чего доброго.

Ему вдруг пришло в голову, что на самом деле он, кажется, готов стоять тут целую вечность, перебрасываясь ничего не значащими фразами и давая жизнь всем этим невнятным "ну, да", "еще бы" или "ну, конечно", слушая и отвечая, отводя глаза и вновь встречаясь взглядом, улыбаясь и погружаясь в молчание, все время чувствуя, как до краев напол-

ненное время остановилось, не видя больше никакого смысла в том, чтобы течь дальше.

Приятная и вполне простительная иллюзия, сэр.

– А вообще-то он страшный козел, – сказала она, доставая пачку сигарет. – Сказал, что купит мне дом в Мале-Адумиме, если я стану его наложницей... Ничего, да?..

Она опять захихикала, и он заметил, как мелко задрожала на ее виске каштановая прядь.

– Это он так шутит, – сказал Давид, думая в то же время – будет ли расценено как проявление антисемитизма, если он натянет Мордехая его шляпу по самый нос или затолкает ему в рот кусок его же собственной бороды.

– Ничего себе шутки, – сказала она, зажигая новую сигарету.

– Вообще-то, если придерживаться точки зрения самого Мордехая, ничего оскорбительного в его предложении нет.

– Да? – она посмотрела вдруг на Давида так, как будто увидела его в первый раз. – Ты так считаешь?

– Не я. Мордехай... Потому что, если я правильно понял, то последние двадцать лет он решает одну очень важную религиозную проблему... Ты что, действительно, не в курсе?

– Нет, – сказала она, уставившись на Давида неожиданно широко открытыми глазами. – И какую же проблему он решает?

– Как изменить жене и, одновременно, остаться приличным семьянином, – сказал Давид. – Другими словами, и рыб-

ку съесть и на хрен сесть.

– Ну и как?

Она смотрела на Давида, не отрывая глаз, словно сказанное им никогда прежде не приходило ей в голову.

Кажется, ей действительно, было интересно.

– Элементарно, – сказал Давид, с удивлением чувствуя, что не испытывает в отношении Мордехая никаких угрызений совести. – Институт наложниц, известный на всем Ближнем Востоке, с вашего позволения. И удобно, и прилично, и ничему не противоречит. Тем более что никто этот институт никогда не отменял. Во всяком случае, Тора нигде не нашла нужным сказать что-нибудь против этого уважаемого института.

– Теперь понятно, – сказала Ольга, поднимаясь со стула. – Я же сказала тебе, что он козел.

– Значит, от дома отказываемся, – сказал Давид.

– Ну-у, не знаю, – протянула она с неожиданно кокетливой улыбкой. – Насчет дома еще надо будет подумать. Это ведь не такая вещь, которой можно швыряться налево направо?

– Не такая, – подтвердил Давид, одновременно обратив внимание на то, как под порывом ветра оконная рама дернулась и захлопнулась, словно принимая сказанное к сведению.

– Знаешь, – сказала она, опускаясь рядом с ним на пол. – Это, наверное, смешно... Сегодня на кладбище... Как бы тебе сказать... Мне вдруг показалось, что ничего этого на са-

мом деле нет... Ни этой глины, ни этих могил вокруг, ни этого ужасного тела... Что все это только кажется... Понимаешь?.. Это как в кино... Думаешь, это смешно?

Возможно, сказанное можно было принять в качестве жеста доверия и расположения, хотя, скорее всего, оно было только следствием усталости и выпитого алкоголя.

Так сказать, следствием естественных причин, сэр.

Следствием естественных причин, Давид.

– Мне тоже так показалось, – сказал он, чувствуя, как должно быть, фальшиво и неубедительно это прозвучало.

– Правда?

– Да, – он вспомнил сегодняшнее утро. – Как будто все это только сон, от которого надо поскорее проснуться.

Сон, у которого не было, конечно, никакого будущего, но который успешно компенсировал это отсутствие тем, что растягивался на всю оставшуюся жизнь.

Так, во всяком случае, он подумал тогда, вспомнив сегодняшние похороны, рассеянный осенний свет и лицо Анны, а рядом твое лицо, – словно смутное, но точное отражение, хотя между вами, кажется, была разница почти в десять лет, – две сестры, отвернувшиеся от ветра, – одну из которых звали Анна, а другую Ольга, – впрочем, выражение ваших лиц, словно оголенных происходящим, пожалуй, могло навести на подозрение, что это сходство, вопреки общему мнению, простирается гораздо дальше и значит гораздо больше, чем простое совпадение внешних черт, – а впрочем,

это было всего только подозрение, от которого, как всегда, конечно, немного проку.

На тебе был длинный черный плащ и белый шарф, и вместе с букетом белых роз, который ты держала, все это так и просилось на широкоформатную цветную пленку, особенно в те мгновенья, когда вспыхивало солнце, хотя, с другой стороны, можно было допустить, что кому-то это могло показаться немного искусственным и даже напоминающим какую-то телевизионную заставку, рекламирующую не то духи, не то женские колготки.

Узкая рука в черной перчатке. Светло-рыжие пряди, взлетающие вдруг от порыва ветра. Плотно сжатые, ярко накрашенные губы на бледном лице. Едва заметные темные тени под глазами. Стремительно бегущая по равнине тень облаков. Хруст гравия под ногами. И за всем этим – нелепая, ни на что другое не похожая уверенность, что все, что ты видишь вокруг – это только застилающая глаза иллюзия, дурной сон, фата-моргана, взявшая тебя на короткое время в плен.

– Ну? – спросила она искоса глядя на Давида. – И что же это, по-твоему, значит?

В ее голосе ему послышалась едва различимая насмешка, как будто она уже заранее знала ответ на свой вопрос и теперь задавала его только затем, чтобы убедиться, что не ошиблась.

– Не знаю, – сказал Давид. – Ответов много. Один из них

гласит, что может и правда – ничего этого на самом деле нет.

Она засмеялась. Негромко и, пожалуй, несколько вызывающе. Сказала:

– А по-моему, это ужасно. Держать нас в неведении относительно таких важных предметов, мне кажется, это редкое свинство... Как кроликов...

Она снисходительно усмехнулась, давая понять, что, в конце концов, прекрасно отдаёт себе отчет в том, что все это – одни только разговоры и ничего больше.

– Кролики ведь тоже ничего не знают о том, что их ждет, – добавила она, немного помолчав. – Хочешь выпить?

– Хочу, – сказал Давид, оставив реплику о кроликах без ответа.

Она открыла дверцы кухонного шкафчика, звеня стоящим там стеклом.

– Где-то тут что-то такое было... Ага!

Это *что-то* оказалось слегка початой бутылкой «Абсолюта».

– Надеюсь, Феликс меня не убьет, – сказала она, доставая вслед за бутылкой две пластмассовые кофейные чашки. – Ну, что?.. За Маэстро.

– За Маэстро, – сказал Давид, намереваясь, впрочем, выпить на самом деле за что-то другое. – Тебе, может, что-нибудь закусить?

– Нет, – сказала она. – Никаких закусить. Хочу сегодня напиток, как свинья и с кем-нибудь подраться.

– Тогда желаю успеха, – сказал Давид, опрокидывая в себя пластмассовую чашечку и, одновременно, видя краем глаза, как взлетели и рассыпались по плечам ее волосы.

– Хорошо, хоть Грегори не видит, – сказала она несколько мгновений спустя, ставя на стол кофейную чашечку. – Бр-р-р... Интересно, что бы он подумал?

– Он бы подумал, что только святые могут пить эту отраву в таких количествах, не закусывая, – сказал Давид, глядя на знакомый силуэт, который возник за рифленным стеклом двери. – Не хотелось бы тебя расстраивать, но, кажется, к нам гости.

Дверь и в самом деле отворилась и в проеме показалась сначала шляпа, потом борода, а потом и сам Мордехай.

Глаза его подозрительно бегали.

– Я так и думал, – он сверлил тяжелым взглядом то Давида, то Ольгу. – Вот вы где... И что у тебя с ней?

– Консенсус, – сказал Давид. – Ты что, не видишь?

– И при этом – полный, – добавила Ольга.

– Смотри у меня, – и Мордехай показал большой волосатый кулак. – А водка откуда?

– Мордехай, – сказал Давид.

– Что, Мордехай!.. Спрятались так, что их не найти и думаете, что это может кому-то понравиться!..

– Ну, я пошла, – сказала Ольга, забирая со стола бутылку.

– Куда? – Мордехай загородил собой выход. – А с нами посидеть?

– Посижу, когда ты будешь немного повежливей... Пусти меня, пожалуйста... Интересно, дома ты тоже такое же хамло?

– Если бы я был не хамло, то сидел бы сейчас в каких-нибудь Люберцах и сосал бы лапу, – сообщил Мордехай; причем как всегда было непонятно, шутит ли он или говорит серьезно. Потом он посторонился, пропуская Ольгу и добавил:

– А тебе советую еще раз хорошенько подумать. Предложение пока остается в силе...

– Непременно, – сказала Ольга, исчезая.

– Дверь, дверь, – зашептал Мордехай, махая рукой.

Давид закрыл дверь. Потом он повернулся к усевшемуся на единственный стул Мордехаю и спросил, не давая тому опомниться:

– Ты это что, серьезно собираешься купить ей дом?

– Это она тебе сказала?

Давид кивнул.

– Трепло, – Мордехай достал из нагрудного кармана сигареты. – Разве можно женщинам что-нибудь доверить?..

– Ну, и как ты себе это представляешь? – спросил Давид, увидев вдруг всю нелепость этой ситуации. – Ты ведь, кажется, женат, если я не ошибаюсь.

– Авраам тоже был женат, – сообщил Мордехай, после чего протянул руку и запер дверь на задвижку. Затем он сказал негромко и доверительно:

– Можешь себе представить, Дав. Я ни в кого не влюблял-

ся уже десять лет. А?

Глаза его вдруг неожиданно потеплели.

– Так значит – это все-таки правда? – спросил Давид, опускаясь на пол возле плиты. – С вашим институтом наложниц?.. Тебя что, можно поздравить?

– Ты, что, оглох? – Мордехай с сожалением посмотрел на Давида. – Я тебе говорю, что ни в кого уже не влюблялся десять лет, а ты лезешь с какими-то дурацкими поздравлениями! Солить я их, что ли буду?

– Сочувствую, – сказал Давид.

– Вот то-то, – печально покачал головой Мордехай. – Влюбился, как мальчишка-пятиклассник... Может, поговоришь с ней?

– Ты с ума сошел? – Давид с неподдельным удивлением взглянул на Мордехая. – И что, по-твоему, я ей скажу?.. Люби Мордехая, он хороший?

– Ну, что-то в этом роде, – сказал Мордехай, опуская глаза. При этом Давид мог поклясться, что его лицо слегка порозовело, так, словно ему было страшно неудобно обсуждать эту сомнительную тему. Розовеющий Мордехай, – пожалуй, это было что-то новенькое.

– Есть вещи, – сказал Давид, пожимая плечами, – есть вещи, которые каждый должен делать исключительно сам. Особенно, если это касается твоих собственных гениталий.

– Дело не в гениталиях, – Мордехай, кажется, порозовел еще больше. – Дело в том, – повторил он, вновь понижая

голос, – что я влюбился первый раз за десять лет. Ты только подумай, Дав.

– Это я уже слышал.

– Ну и все... А с институтом наложниц у нас, слава Небесам, все в порядке. Никто его не отменял. Заводи столько, сколько сможешь прокормить.

– Нашел чем удивить, – сказал Давид. – Между прочим, я это знал еще в средней школе. Вы бы еще лет тридцать поискали. Отчего бы вам, дуракам, об этом было бы сразу не догадаться?

– Хорошие мысли приходят не вдруг, – вздохнул Мордехай.

– И не ко всем, – добавил Давид. – Могу подбросить вам еще одну.

– Подбрось, – сказал Мордехай, демонстрируя автоматическую привычку никогда не отказываться ни от какой халавы.

– Апофеоз многоженства, – сказал Давид, делая серьезное лицо. – Лия и Рахель. Чувствуешь, какие перспективы?

– Думали уже, – Мордехай взглянул на Давида печальными глазами.

– И что? – спросил Давид.

– Женщины против. – Мордехай пренебрежительно махнул рукой. – Все почему-то хотят иметь по одному мужу, которым ни с кем не надо делиться. Жадные идиотки.

– А вы в приказном порядке, – посоветовал Давид. – Бог

ведь не спрашивал вас, хотите ли вы, чтобы Он вас избрал?.. И вы не спрашивайте. Возьмите и объявите с завтрашнего дня тотальное многоженство. Чем вы хуже арабов?

– Иди в жопу, – отмахнулся Мордехай. – Если говорить о хороших мыслях, то единственная хорошая мысль на сегодняшний день заключается в том, что я прочитал эту вашу тетрадь Маэстро и готов это обсудить, но только позже.

– Между прочим, она еще даже не до конца перепечатана, – заметил Давид. – Где ты вообще ее взял?

– Феликс дал, – ответил Мордехай и принялся доставать свою бороду, спрятанную под рубашкой. Какое-то время Давид молча наблюдал за этим редким зрелищем. Потом сказал:

– Когда ты разоришься, то сможешь продать маленькие подушечки с твоей бородой и говорить всем, что они имеют целебные свойства.

– Я не разорюсь, – проворчал Мордехай, расправляя бороду во всю ее длину, так что она вся теперь лежала на столе, невольно рождая вопрос – как такая вещь вообще могла вырасти на человеческом лице. – Кто правильно поставил дело, тот не разорится.

– Интересная мысль, – сказал Давид.

– Только я тебя умоляю. Ладно? Если ты действительно хочешь издать этот шедевр, надо сначала выбросить из него все эти гойские штучки.

– А там есть гойские штучки? – спросил Давид. – Напри-

мер?

– Например, все эти ненужные разговоры... Кого сейчас, скажи, интересуют разговоры?

– Меня, – сказал Давид.

– Ну, разве что, – ответил Мордехай, двумя руками поглаживая бороду.

– Понятно. Значит, когда мы выбросим гойские штучки, ты эти записки напечатаешь... Я правильно понял?

– Ничего ты не понял, – сказал Мордехай. – Когда ты выбросишь все гойские штучки, тогда мы сможем сесть и все обсудить.

– Заманчивая перспектива, – Давид внимательно поглядел в глаза Мордехая. – Слушай, Мордехай. Ты забыл, наверное, что я тебя знаю больше двадцати лет?... Зачем тебе это надо?

– А тебе? – спросил Мордехай, поглаживая бороду. – Или у тебя есть другой издатель?... Так ради Бога!.. Печатайся, где хочешь.

– Только не бери меня на понт, – сказал Давид. – Лучше скажи старому другу, зачем тебе сдались эти чертовы записи?

– Зачем?... Зачем? – с грустью сказал Мордехай, глядя на Давида. – А мне почему-то казалось, что ты мне веришь.

– Тебе? – переспросил Давид и желчно усмехнулся. – Тебе?... Ну, еще бы!.. Как не верить человеку, который только и знает, что повторять "на мне не заработаешь"!.. Или, может,

это говорилось исключительно в воспитательных целях?

– Так это же правда, Дав, – сказал Мордехай, вдруг расплываясь в светлой, почти детской улыбке. – На мне не заработаешь, и это все знают... Нашел, на что обижаться.

– И все-таки, – сказал Давид. – Хотелось бы знать, зачем тебе понадобились эти записки?

– Вот пристал, – Мордехай протянул руку и подергал ручку, проверяя, закрыта ли дверь. Потом зажег сигарету и сказал, понизив голос:

– Дело не в тетради, а в бумагах, которые остались после смерти твоего рабби Ицхака... Знаешь, о чем я говорю?

– Впервые слышу, – Давид чувствовал, что сейчас покраснеет.

– Они пропали, – сказал Мордехай почти шепотом. – Сразу после его смерти. Родственники точно знают, что они были, а затем исчезли. Но поскольку они сами из Америки, то им было некогда разбираться тут с какими-то бумагами и они оставили это все на меня... Теперь доволен?

– Я видел на похоронах двух его сыновей, – сказал Давид. – Это они?

– Они, – сказал Мордехай. – Два откормленных раввина из американской реформаторской общины. Чтоб я так жил.

– И что это за бумаги? – спросил Давид, удивляясь собственной наглости.

– Пока еще не знаю, – сказал Мордехай. – Но думаю, что это что-то, что очень всполошило родственников, так как

они битых два часа рассказывали мне – какие это важные бумаги и что их необходимо как можно быстрее вернуть... Теперь чувствуешь?

– Что? – сказал Давид.

– Деньги, – Мордехай, похоже, удивился, что такая простая мысль сама не пришла сразу Давиду в голову. – Деньги, милый, мой. Приличные деньги. У меня на это нюх. Они еще не приехали, а я уже чувствовал, что тут пахнет деньгами.

– Значит, дело только в бумагах рабби, а записи Маэстро, тебе не нужны?

– Записи Маэстро – это мелочь, – сказал Мордехай, – А вот бумаги рабби Зака могут нас сделать почти счастливыми... Ты-то сам ничего не слышал?

– Ничего, – сказал Давид.

– Вы ведь были хорошо знакомы, кажется.

– И тем не менее.

– И все-таки ты попробуй порыться, – с некоторой настойчивостью посоветовал Мордехай.

– Мордехай, – Давид с отвращением посмотрел на старого друга.

– На всякий случай, – сказал Мордехай, внимательно глядя на Давида. Возможно, он хотел добавить еще что-то, но не успел, потому что в дверь постучали.

– Не открывай, – прошептал Мордехай, глядя на туманное очертание за рифленным стеклом.

– Это Анна, – шелковая задвижкой, сказал Давид.

– А вы тут хорошо устроились, – сказала Анна, ставя в раковину грязные чашки. – Хотите кофе?

– Нет, – сказал Давид. – Спасибо.

– Да, – сказал Мордехай. – Хотим.

– Тогда придется немного подождать, – сказала Анна, включая чайник. – Кстати, Феликс тебе сказал, что ты забыл у нас записную книжку?

– Ну, да, – сказал Мордехай, пытаясь засунуть назад в рубашку свою бороду. – Только он сказал, что не знает, где она.

– Надо было спросить у меня, – сказала Анна. – Напомни, чтобы я тебе потом принесла. – Она смахнула со стола крошки и выскользнула из кухни.

– А я думал, настоящие евреи ничего не забывают, – сказал Давид.

– Настоящие евреи не забывают главного, – сказал Мордехай.

– То есть плодиться и размножаться.

– Отвали, – Мордехай поднялся со стула. – Допечатавай свои записи и думай о том, что я тебе сказал.

– Я подумаю, – пообещал Давид, выходя вслед за Мордехаем, чтобы опять попасть в эту гудящую, бормочущую, курящую и пьющую толпу. Где-то в конце комнаты мелькнуло знакомое лицо. Потом он обнаружил еще несколько знакомых. Лысый Хванчик негромко смеялся, прикрыв лицо ладонью. Кто-то помахал ему рукой. Какая-то пожилая женщина, смотрела на него и улыбалась, явно приняв его за кого-то

другого. "Ну, как?" – спросил проходящий мимо Ру. – "Никак", – ответил Давид. – "И слава Богу", – сказал Ру, оставив за собой последнее слово.

Потом он услышал мягкий голос Левушки.

– Пойдем, выпьем, – сказал этот голос и Левушкина рука потрепала его по плечу.

– С удовольствием, – сказал Давид, ища глазами Ольгу. – Только – что?

– Погоди, я сейчас принесу, – сказал Левушка, останавливаясь возле подоконника. – Постой пока здесь... Знаешь, что Мордехай приехал?

– Уже имел счастья с ним беседовать, – сказал Давид.

– И что? – спросил Левушка.

– Он влюбился.

Левушка захихикал и сказал:

– Влюбленный Мордехай. Похоже, что это серьезно.

– Еще как, – сказал Давид. – Особенно, если учесть, что он влюбился в нашу Ольгу.

– Вот это да, – сказал Левушка. – Боюсь, что ей теперь не позавидуешь. Ты бы с ним все-таки поосторожней, Дав.

– Вообще-то я его знаю двадцать пять лет. В один садик ходили.

– Ну и что? – сказал Левушка. – А что если он особенно опасен в брачный период?.. Ты представляешь? Да он тут все сметет, к чертовой матери.

– Двадцать пять лет, – повторил Давид.

– Ну, смотри сам, – сказал Левушка, исчезая в толпе и через минуту вновь появляясь, держа что-то под топорщившимся пиджаком.

– Вот, – сказал он, ставя на подоконник пол-литровую банку, два стаканчика и небольшой кусочек черного хлеба. – Между прочим, это все наше.

– Похоже, мы опять богаты, – сказал Давид, поворачиваясь спиной к галдящей толпе.

– А ты как думал?.. Кстати, в банке спирт. Правда, немного теплый, но я думаю, это ничего.

– Это определенно ничего, – сказал Левушка, разливая.

– Тогда поехали, – Давид взял в руку стаканчик. – Сам знаешь – за что.

– Буль-буль, – сказал Давид и выпил.

– Прошу закусить, – сказал Левушка.

– Про закусить не может быть и речи, – Давид принялся к запаху спирта. – Мне хочется сегодня не закусить, а нажраться, как последняя свинья. Так, чтобы потом не пускали на порог и долго вспоминали, какие подвиги ты совершил.

– Я с тобой – сказал Левушка.

– Тогда вперед, – Давид поднял свой стаканчик.

– Вперед, – сказал чей-то незнакомый голос, хотя, может быть, Давиду это только показалось.

10. Филипп Какавека. Фрагмент 123

«Пора домой, пора возвращаться, – сколько раз я слышал эти слова! Разве не они тревожат меня с тех пор, как я научился слушать? Каждая вещь – и здесь, и за окном – твердит мне об этом, хотя сам я спрашивал их совсем о другом. Пора возвращаться, – говорит мне и это небо, и этот далекий горизонт, и твое лицо; прислушайся, говорят они, – настало это время, время расставаний. Ведь мир – это только возвращение, могут ли быть у него другие дела? А значит и у нас не может быть другой надежды, кроме этой. И верно: если что-то и зовется этим словом, так ведь только это – пора возвращения.

Но прежде чем отправиться по этой единственно-возможной из всех возможных дорог, разве не спрошу я: что же я делал здесь, в царстве вечной Осени и безмолвной Печали? Неужели я был здесь только затем, чтобы ждать, и ждал лишь затем, чтобы вернуться? Пусть так. Но нет ли в этом возвращении чего-нибудь, что могло бы пригодиться мне дома? Будут ли *там* сниться мне эти «здесь» и «теперь»? – Смешные вопросы! Ведь все они принадлежат этому возвращению, так стоит ли принимать их в расчет? – Правда, у меня есть и

другая тревога: ведь, похоже, я ничего не знаю не только о том, откуда я иду, но и о доме, куда возвращаюсь. Расставание с тем, что не должно иметь в моих глазах никакой цены, ради того, чтобы обрести желанный очаг, о котором молчат даже мои сновидения, – не это ли заставляет меня тревожно прислушиваться и подозревать, быть может, наихудшее? Не значит ли это, что если в действительности что-то и существует, так это только возвращение, не знающее ни того, что было, ни того, что ожидает впереди, и уж тем более ни того, что есть, – Возвращение не умеющее вернуться, не знающее возврата?»

11. Мастерская

Сейчас уже трудно было вспомнить, когда мы впервые оказались в мастерской Маэстро. Кажется, это случилось где-то через неделю после похорон. Похоже, именно тогда Феликс попросил меня отобрать несколько полотен для памятного альбома, мысль об издании которого пришла ему в голову, похоже, на следующий же день после смерти Маэстро.

Помню некоторую неловкость, которая сопровождала поначалу наше появление в мастерской.

Так, словно мы нарушили только что покой Маэстро, вызвав этим понятное неудовольствие самого хозяина, который прятался теперь от нас в темных углах и в сгустившихся под диваном и шкафами тенью, которую не могли разогнать даже яркие софиты, включенные Феликсом.

Потом эта неловкость как будто немного прошла.

Ключи от мастерской были, конечно, у Ольги и это, кажется, не вызывало ни у кого ни удивления, ни смущения. В конце концов, это было не наше дело, тем более что такое водилось среди его близких друзей, к которым, без сомнения, относилась и Ольга, о чем свидетельствовал и ее незаконченный портрет у окна, и тот уверенный жест, с которым она повесила ключи от мастерской возле двери – так, как это

мог сделать только человек, делавший это уже много раз.

Хорошо помню, как Феликс спорил с Ру по поводу того, как раскладывать картины, – по годам или по темам, – помню как затем из горы стоящих возле стен подрамников, возникли одна за другой знакомые и незнакомые полотна, одни из которых откладывались в сторону, тогда как другие возвращались на место. Помню и как висела в веселом солнечном свете потревоженная пыль, и как вдруг начинали непривычно светиться только что протертые влажной тряпкой холсты, но не помню ни твоего лица, ни запаха твоих духов, – сомнительного достоинства резкий "БельЛюшаль", аромат которого, кажется, сопровождал тебя с первого дня нашего знакомства.

– Да тут на целый музей, – сказал Ру, откидывая в сторону один подрамник за другим.

– Мусей, – повторил Грегори, бесцеремонно вытаскивая и разворачивая подрамники лицом к свету.

– А вот эту посмотри, – Феликс придвинул к лампе небольшую картину (кажется из серии "Чужие лица"), на которой старая нищенка в драном платке, просила милостыню возле горящего фонаря. Шел снег и она смотрела на тебя немного снизу, запрокинув голову и протягивая пустую открытую ладонь, а ее широко распахнутые, сумасшедшие и темные глаза, в которых отражался невидимый фонарь, казалось, не видели тебя и смотрели прямо сквозь.

– Такая, пожалуй, сглазит и с картины, – сказал Феликс и

спросил, обращаясь к Грегори:

– Нравится?

– Это... как сказать? – Грегори замялся, вспоминая нужное слово. – Колдунья? Да?

– Видели? – сказал Феликс и похлопал Грегори по плечу. – Человек приехал всего полгода, а уже различает грамматические нюансы... Конечно, это колдунья... Ведьма...

– Ведма, – сказал Грегори.

– Женщина, которая продала душу дьяволу... Ведьма. Ты только посмотри, какие у нее глаза. Просто жуть.

– Да. Ведма, – повторил Грегори, глядя на картину. – У нас в Ирландии не было ведма. Ни одна ведьма не была.

– Не может быть, – не поверил Феликс. – Кого же вы тогда, интересно, жгли?

– Никого, – сказал Грегори немного снисходительно. – Ведьмов жгли в Шотландии и Британии. В Ирландии никто не жгли.

– Что-то я сомневаюсь, – сказал Ру.

– Никто, – подтвердил Грегори, отдавая салют, как научил его Феликс. – Нет. Одну женщину судили в 1711 году за колдовство. Это было один раз. Она испортила молодую девушку и отбила у нее жениха. Жених пожаловался на нее, потому что она ночью делала из него коня и ездила к своей тетке... как это... в Эдинбург.

– Ну, вот, – сказал Феликс. – А ты говоришь. Это же и есть ведьма. А ты говоришь – не жгли.

– Ее... как это... отпустили, – сказал Грегори.

– Оправдали, – сказал Ру и громко засмеялся.

– Как это? – сказал Феликс, переворачивая следующую картину. – Что за страна у вас такая, ей-богу?.. В другой стране за такие вот дела сожгли бы и ее, и ее родных, и всех ее друзей в придачу.

– И коня, – сказал Давид.

– Уж коня-то в первую очередь.

– У вас тоже жгли ведьмов?

В голосе Грегори появилось не то, чтобы недоверие, а какое-то недоумение, – так, словно, он всю жизнь думал о человеке только хорошее, а теперь вдруг выяснилось, что это не совсем отвечает действительному положению вещей.

– Вон у Ру спроси, – сказал Давид. – Там, откуда он приехал, жгут всех подряд. И без всякого исключения.

– А откуда? – спросил Грегори.

– Он приехал из России, – сказал Давид.

– В России жгли ведьмов?

На лице Грегори появилось изумленное выражение.

– Не хуже других, – сказал Ру. – Вам в вашей Ирландии и в страшном сне не снилось. Я тебе потом книжку дам.

– Это большое сожаление, – сказал Грегори.

– Еще какое, – сказал Ру, поворачивая очередную картину к свету. – Вся русская история – это только одно большее сожаление.

– А вот это уже перебор, – сказал Феликс. – Не слушай

его, Грегори.

– Это ты его не слушай, – проворчал Ру, опускаясь на пол рядом со стулом, на котором сидел Давид. – По-моему, наш друг и учитель скоро станет русским националистом, если его только МОСАД не остановит.

Ольга негромко рассмеялась.

– Я все слышу, – Феликс, не оборачиваясь, погрозил всем кулаком.

– Он все слышит, – сказал Ру, разводя руками и скорчив забавную рожу. – Мне кажется, в этом есть что-то подозрительное, когда человек все слышит.

– Перестань, пожалуйста, – попросила Анна.

– Молчу, – сказал Ру.

Похоже, чайник на плите не собирался закипать.

– И все-таки интересно, – вполголоса сказала Ольга. – Вы заметили? Когда человек умирает, все вокруг почему-то чувствуют исключительный моральный подъем, как будто выиграла в лотерею. Это почему так, интересно?

– Традиция, – сказал Ру.

– И при этом, довольно свинская, – добавила Ольга.

– И тем не менее, психологически вполне объяснимая, – сказала Анна, поднимаясь со своего места. В голосе ее опять прозвучал едва заметный лед, на который никто, кажется, не обратил внимания.

– Что еще? – Феликс оторвался от очередной картины. – Что объяснимая?

– Ничего.

Анна сделала несколько шагов по комнате, потом вновь опустилась на стоящий у стены стул и повторила:

– Ничего.

– Ни-че-го, – с удовольствием повторил Грегори – так, словно он сосал леденец. – Ни-че-го... Это значит...

– Ничего, – сказала Анна.

– Ничего, – кивнул Грегори с явным удовольствием.

Потом он негромко засмеялся.

– Кто-нибудь собирается мне, наконец, помочь? – спросил Феликс. – Я что? Напрасно тащил с собой все эти тетради?.. Давид?

– А может и правда, лучше потом? – спросил Давид, протирая объектив камеры. – Нас ведь никто не подгоняет, слава Богу.

– Лучше, наверное, потом, – согласилась Ольга. – Что-то мне сегодня не очень...

– По-том, – сказал Грегори, и повторил, обкатывая слово во рту. – Потом.

– Между прочим, – укоризненно сказал Феликс, пожимая плечами, – я уже договорился, что через неделю принесу им предварительный план. Вы думаете, мы что-нибудь при таких темпах успеем?

– Никаких сомнений, – сказал Давид.

– Ладно, – Феликс вновь вернулся к полотнам. – Посмотрим.

Между тем, присев на соседний стул, Ру негромко сказал:

– Я понимаю, конечно, что после смерти все так ошарашены, что хотят любыми способами удержать мертвого. Единственное, чего я не понимаю, почему этот запал обычно так быстро проходит.

– У тебя проходит? – почти враждебно спросила Ольга.

– Да, нет, я серьезно, – сказал Ру.

– Тогда угадай с трех раз, – сказал Давид. Он поймал в объектив лицо Ольги и теперь ждал, когда можно будет нажать на спуск.

– Не может быть! – сказал Ру. – Неужели поэтому?

– Вот именно, – сказал Давид. – Именно поэтому.

– Какая неприятность, – Ру повернулся к Анне. – Ты тоже так думаешь?

– Если ты имеешь в виду, что дорога в ад вымощена благими намерениями, то, пожалуй, я тоже.

– Я только имел в виду, что человек – это порядочная скотина, – сказал Ру.

– Кто это скотина? – не оборачиваясь, спросил Феликс.

– Есть тут у нас один, – сказал Ру.

Грегори негромко засмеялся.

– Именно поэтому, – сказал Давид, нажимая на спуск. – Хоть я допускаю, что, может быть, кто-нибудь придерживается другой точки зрения.

– Единогласно, – сказала Ольга и засмеялась.

– Что, единогласно? – спросил Феликс, вытаскивая одно

за другим сразу несколько небольших полотен. – Ах, вот они где, голубчики... А то я уже стал думать, что их нет... Хотите посмотреть?

Он быстро протер их и поставил возле стены...

Четыре полотна из цикла "Бог в изгнании".

Тяжелый, темный фон заплывающих, грязных тротуаров, подъездов, забегаловок.

Одутловатые лица, зловеще светящиеся белки глаз, старые руки с набрякшими венами.

Хохочущий оскал открытых в смехе ртов.

И, как правило, всегда одинокая среди толпы фигура, – светлая, будто выточенная из дерева, с терновым венцом одетым прямо на скрывающий лицо капюшон или накидку, что, собственно, и следовало ожидать, поскольку Маэстро, хоть и не отдавал предпочтение ни одной христианской конфессии, однако, был склонен называть себя христианином, возможно, не всегда отдавая себе отчет, что, собственно говоря, это значит и к каким последствиям может привести.

Возможно, – подумал однажды Давид, – ему просто нравилась эта расцвеченная всеми восточными красками история о распятом проповеднике, который говорил много дельных вещей и не побоялся взойти на Крест, доверяя своему небесному Отцу и полагая, что он никогда не оставит в беде того, кто положил свою жизнь за ближнего своего.

Эта старая история, которая время от времени все еще случалась на земле, не делая мир ни счастливее, ни лучше.

– Что это есть? – спросил Григори, подходя ближе.

– Цикл называется "Бог в изгнании", – ответил Феликс. – Понимаешь?.. «Бог в изгнании». По-моему, очень даже ничего...

Он повернул лампы, так что свет упал сразу на все полотна и спросил:

– Помнишь, Давид?

Ну, разумеется, он помнил.

Ведь это была одна из тех идей, которые Маэстро долго вынашивал, чтобы потом неожиданно вывалить на голову первого же подвернувшегося встречного. Вот так просто – бах! и на тебя вдруг валился компот из цитат, рассуждений и планов, так что через пятнадцать минут в твоей голове была уже сплошная каша, а сам ты начинал забывать, о чем, собственно, идет речь.

Тогда таким встречным оказался Давид, которому пришлось часа три кряду слушать почти восторженные, хоть и не всегда внятные объяснения Маэстро, которому, похоже, прежде чем взять в руки кисть, было необходимо сначала выговориться, чтобы в результате расставить все по своим местам.

Словно каким-то образом он снимал этими разговорами ответственность с себя и частично перекладывал ее на подвернувшегося ему собеседника, который, конечно, даже не подозревал об этом.

Идея добровольного изгнания с небес, сэръ.

Иисус, не желающий возвращаться домой, пока смерть и страдания царят на земле.

Его добровольного присутствие среди людей, которые несмотря ни на что по-прежнему нуждались в словах сострадания и поддержки, а не в изучении церковных брошюрок типа *"Как не утратить веру перед лицом безбожного мира"*.

Нечто, что с равным успехом могло стать темой как для сопливого обсуждения в каком-нибудь христианском клубе, так и для обретения прочного основания, которому не страшно было доверить свою жизнь.

– На самом деле, – говорил Маэстро, нервно потирая руки и меряя шагами свободное пространство мастерской, – на самом деле, если, конечно, относиться к нему серьезно, а не как к простому идолу, от которого мы ждем каких-то реальных благ, – на самом деле, конечно, Он должен остаться среди нас. Потому что иначе получается, что Он просто оставил людей без поддержки и надежды. Просто прошел мимо и больше ничего... Так ведь, надо сказать, многие и считают...

– Есть еще Церковь, – неуверенно произнес Давид, отдавая себе отчет в слабости этого аргумента.

– Если ты хотел пошутить, то тебе это удалось, – сказал Маэстро: – Когда я захожу в церковь, что все, что я там вижу, это только следы Его ухода. Как будто церковь – это брошенный корабль, капитан которого давно уже гуляет на берегу с девочками... Поэтому, если Он вообще есть, Он, конечно, не может быть только в церкви... Он должен быть с каждым,

кто в нем нуждается, и кто его зовет... Ты понимаешь?

– Да, – Давид почувствовал некоторое беспокойство, вызванное этой рискованной темой. – Вообще-то об этом говорили многие, например Паскаль.

– Кто говорил? – подозрительно спросил Маэстро, который не любил, когда его уличали в том, что он что-то не знал или забыл.

Давид привел по памяти несколько известных цитат.

– Как? – переспросил Маэстро. – Мы не должны спать?

Было очевидно, что он слышит эти слова в первый раз.

– Пока Христос все еще висит на кресте, – сказал Давид.

Пока он все еще висит там, сэр.

В этом душном солнечном сиянии, наполненном жужжанием мух и слепней, позвякиванием железа и глухими звуками человеческих голосов, обсуждающих сегодняшний день.

В этом полузабытьи, где время остановилось, потрясенное случившимся и где сегодняшний день, до краев наполненный запахом пота, крови и безнадежного ожидания, уже никогда не станет вчерашним.

Похоже, по этому поводу следовало бы сказать несколько прочувствованных слов, от которых, впрочем, вряд ли стоило бы ожидать какого-нибудь толка.

– Черт, – Маэстро пожал плечами. – А я почему-то забыл. Просто выскочило из головы. Надо посмотреть.

Он был явно огорчен.

Впрочем, поверхностное знакомство с Паскалем совсем

не помешало появлению этого цикла, часть из которого вытаскивал теперь на свет божий Феликс.

Размалеванные вокзальные шлюхи.

Игроки в домино.

Ментовская камера предварительного заключения.

Похороны.

Заплеванное кафе.

И везде – эта сухая, светлая фигура со следами ударов на теле, словно последнее, что Он мог сделать для других – это просто находиться рядом, переживая чужую боль и чужие страдания, как свои собственные.

– И все-таки, – сказал Ру. – Не надо забывать, что Христос это не Бодхисаттва, мне кажется... Есть кое-какая разница.

– Ясное дело, – согласился Давид. – Вопрос только в том, является ли это достоинством или, наоборот, недостатком.

– О, – сказал Ру, давая понять, что сказанное следует обсудить. – Это интересно.

– На вас не угодишь, – сказал Феликс. – При чем здесь Бодхисаттва? Если я не ошибаюсь, Христос пролил кровь за всех.

– Спасибо, что просветил, – сказал Ру. – Как раз это мы и собирались обсудить. Потому что, если Он пролил кровь за всех, то, грубо говоря, не пролил ее ни за кого... Если Он пролил ее за всех, то это, в конце концов, в лучшем случае, выглядит как символический акт, от которого тебе ни тепло и ни холодно... Понимаешь?

– Да что это на тебя сегодня нашло? – спросила Анна.

– На меня нашла та простая мысль, – сказал Ру, – что если Он действительно отдал Церкви власть вязать и разрешать, то это значит, что Церковь становится посредником между тобой и Им, а значит еще вопрос, найдешь ли ты еще Его в этой самой Церкви, которая занята по большей части тем, что без конца расхваливает свои собственные достоинства... Но если Он приходит именно к тебе, то это совсем другое...

– Одно не мешает другому, – сказала его Анна.

– А мне кажется, мешает, – Ру иногда мог быть очень настойчивым. – Потому что, если Он приходит к тебе сам, наплевав на все, что про Него написано и сказано, то тогда не нужна ни Церковь, ни ее разрешения, ни ее благословения... И сдается мне, что Маэстро имел в виду именно это.

– Ура, – сказал Давид. – Кажется, богословский диспут все-таки состоялся.

– Тогда, может быть, я что-нибудь, наконец, поставлю? – спросила Ольга, опускаясь перед шкафчиком с пластинками. – В любом случае это будет лучше, чем слушать вашу богословскую чепуху.

– Поставь лучше водку в холодильник, – сказал Ру. – Между прочим, было бы неплохо чем-нибудь, наконец, перекусить.

– Кем-нибудь, – сказал Давид, впрочем, никого особенно не имея в виду.

– Кем-нибудь, – согласился Ру. – Вопрос только, кем

именно?

– Только не мной, – сказала Анна. – Я невкусная.

– А ты откуда знаешь? – спросил Ру.

– Знаю, – сказала Анна.

– Все кто пытались ее съесть, благополучно отравились, – сказала Ольга, перебирая пластинки.

– Надо разложить все по циклам, а отдельные картины сложить вместе, – сказал Феликс... Идите, наконец, помогите, черт вас возьми... Давид!

– Мне кажется, мы все равно сегодня ничего не успеем, – сказал Ру. – Верно, Грегори?

– Верно, – Грегори рассматривал только что протертую картину.

Погруженный в полумрак полуподвальный зал пивной с длинными деревянными столами и низкими каменными сводами. Грязь, рыба шелуха, недопитые пивные кружки. Бессмысленные выражения лиц и глаз. Несвежие передник и наколка официантки. Почти осязаемый громкий смех, крики, ругань, гул голосов. И странная светлая фигура в разодранном хитоне за столом, на минуту опустившая на ладонь голову и закрывшая глаза, – тщедушная фигура, которая не слышала ни криков, ни смеха, не чувствовала ни боли от тернового венца, из-под которого текла по виску маленькая капля крови, ни запаха грязных человеческих тел, ни этой музыки, которая вдруг ударила из двух стоящих на шкафу колонок, – первый концерт для фортепиано с оркестром, ко-

торый вдруг затопил всю мастерскую, словно из открытых окон вдруг хлынули воды последнего потопа, – во всяком случае, именно так ему и показалось тогда, – воды потопа, не слушающие ни возражений, ни проклятий, ни похвалы, так что даже Феликс только повертел в воздухе рукой, прося немного убавить громкость, от чего, конечно, потоп не перестал быть потопом, особенно в своей первой части, в этом невероятном *Allegro*, которое даже не обещало снести все, что попадется ему на пути, а просто вставало перед тобой надвигающейся темно-зеленой волной, забиралось все выше и выше, и уже, казалось, цепляло само небо, которое гудело и грозило расколоться и упасть на землю.

Вспоминая этот день, он спрашивал себя позже – был ли этот концерт только случайностью или же так и должно было случиться по воле небожителей, что она вытащила тогда именно эту пластинку, словно знак или указание, о смысле которых начинаешь догадываться только задним числом, когда уже ничего не поделаешь и остается только незаметно смириться, надеясь, что уж в следующий-то раз ты обязательно разгадаешь все эти нехитрые ребусы, которые время от времени кто-то подсовывает тебе, словно проверяя, годен ли ты еще к продолжению этой игры.

Хорошая мина при плохой игре, сэр, как, наверное, сказал бы этот приходящий из ниоткуда загадочный голос, называющий себя *Мозес*, хотя в этом не было ни смысла, ни понимания. Зато несомненной, кажется, оставалась эта вновь вер-

нувшаяся мысль, настойчиво царапнувшая его в промежутке между Allegro и Adagio, когда, повернув голову, он вдруг увидел ее на полу, среди разбросанных пластинок, где она сидела, положив голову на согнутые колени и закрыв глаза, словно ей было совершенно наплевать на то, что подумают про нее находящиеся вместе с ней в этой комнате, и уж давно – что они скажут про нее завтра или сегодня вечером, делясь впечатлениями и делая сочувственные лица.

И пока длилась эта пауза – от Allegro к Adagio – он вдруг подумал о том, каково, наверное, ей было возвращаться сегодня сюда, в эту мастерскую, входить в эту дверь, сидеть на этом стуле, слыша запах пыльных полотен или перебирая мятые конверты пластинок, – каково ей было после всего того, что, наверное, помнили ее руки и глаза, и что никуда, конечно, не могло так быстро исчезнуть, – каково было ей сегодня, если, конечно, все, что говорили про нее и Маэстро, не было просто обыкновенной и ничего не значащей болтовней...

12. Филипп Какавека. Фрагмент 15

«МАЛЕНЬКАЯ И НАГЛАЯ ИСТИНА. Истин много, чрезвычайно много. Но факт этот вовсе не причина для радости. Скорее наоборот. Необыкновенное число истин тревожит и беспокоит. Ведь сколько не прибавляй к этому Монблану истин еще и еще, сколько не громозди одну гору на другую, – а все будет мало. Иногда даже начинает казаться, что чем больше истин мы находим, тем их становится меньше. Или, вернее, чем больше истин мы узнаем, тем сильнее одолевают нас сомнения в их истинности. К тому же нам нужна не эта или та истина, и даже не эти или те истины, а Истина с большой буквы, – последняя, ясная и всёсвязующая Истина, разговаривающая с нами на нашем собственном языке. Составляют ли наши Монбланы истин такую Истину – об этом можно даже не спрашивать. Может быть, теория, согласно которой Истина есть совокупность всех существующих истин, и может кого-то утешить, но к действительности она имеет точно такое же отношение, как и все прочие теории подобного рода. В лучшем случае нам дано наблюдать совокупность отдельных, непересекающихся друг с другом рядов истин. Но еще больше – тех, которые ни в какой совокупности вообще участвовать не желают, – истин, с удовольствием противоречащих друг другу, поедающих друг друга и

друг друга ненавидящих, истин с хорошим аппетитом и острыми зубами. Впрочем, если и все истины вдруг окажутся совокупны и составят, наконец, одну единственную Истину, то, как знать, не появится ли сразу вслед за этим какая-нибудь маленькая истина с наглой физиономией, на которой мы прочитаем явное желание наплевать и на всю совокупность истин и на каждую из них в отдельности? – Одного этого предположения (которое тоже ведь есть своего рода маленькая истина, – хотя бы по одному тому, что нельзя, как не старайся, доказать обратное) кажется достаточным для того, чтобы от чаемой гармонии не осталось и следа».

13. В тени Ксенофана

– Господи, – сказал, наконец, Феликс, вытаскивая на свет божий очередную партию холстов. – Мне кажется, ты решила сегодня замучить нас этим чертовым аллегро до смерти. Между прочим, Бах писал не для того, чтобы его использовали в качестве пытки. По-моему, ты ставишь его уже пятый раз.

– Оно того стоит, – сказала Ольга, немного убавив звук.

– Мера, число и порядок, – наставительно произнес Феликс. – Именно они, если ты это забыла, делают нашу жизнь относительно сносной... Лучше скажи, что нам оставить на обложку... Может, вот эту?.. Анна?

– Можно эту, – кивнула Анна.

– Не знаю, – сказал Ольга несколько вызывающе. – Мне кажется, что Маэстро это сейчас глубоко безразлично.

– Маэстро может оно и безразлично, – сказал Феликс. – А вот нам нет... А чем языком трепать, лучше скажи, что ты думаешь о нашем альбоме. Есть какие-нибудь мысли?

– Вагон.

– Я серьезно – сказал Феликс. – Кто, например, будет писать вступилровку?.. Может, ты?

Пожалуй, в его голосе можно было расслышать какую-то неуверенность, словно он спрашивал только из вежливости

или в силу сложившихся обстоятельств, о которых знал только он один, опасаясь теперь услышать в ответ что-нибудь не слишком приятное.

– Во всяком случае, не я, – отрезала Ольга.

– И напрасно, – как будто с облегчением вздохнул Феликс. – Между прочим, могла бы получиться неплохая статья.

– Я уже тебе говорила, что я думаю по поводу всех этих неплохих статей, – сказала Ольга. – Могу повторить, но боюсь, тебе это не понравится.

– Лучше не надо, – сказал Феликс.

– Я тоже так думаю, – согласилась Ольга. – Потому что все, что я хотела сказать, это то, что все ваши бесконечные разговоры об искусстве на самом деле ничего не стоят. Но это вы и без меня знаете.

– Ну, это еще как сказать, – подал голос Ру.

– Вот так и сказать, – сказала Ольга. – Потому что дело заключается вовсе не в том, чтобы растолковать этим среднестатистическим идиотом, что такое хорошо, а в том, что надо научиться просто смотреть – и больше ничего... Просто открыть глаза и смотреть. А этому научить нельзя.

Пока она говорила, Давид поймал в объективе ее лицо.

Почти хищный прищур глаз. Холодный взгляд, который не обещал ничего хорошего. Едва заметная, покривившая губы усмешка.

– Понятно, – сказал Феликс. – К сожалению, это может

позволить себе не каждый... Некоторые, например, хотят понять, что они видят.

– Вот именно, – Ольга затаилась и пустила над столом клубящийся фиолетовый дым. – Хотеть хотят, но все равно ни хрена при этом не понимают. Потому что Небеса или кто там еще лишили их способности просто смотреть... Открыть глаза и просто посмотреть, не задавая никаких дурацких вопросов.

– Пардон, – сказал Феликс, поворачиваясь к сидящей Ольге и наклоняя голову, что сразу сделало его немного похожим на быка, готового сию минуту броситься на красную тряпку. – Тогда скажи нам, зачем ты тогда все это за Маэстро записывала, если для тебя главное – просто смотреть, а не понимать?... На хрена ты записывала за ним, черт возьми?

Было видно, что он, наконец, решил рассердиться.

– Потому, что он меня попросил, – сказала Ольга. – Надеюсь, это уважительная причина?

– Ой, ну хватит вам, – Анна замахала газетой, чтобы разогнать дым. – Господи, какой дымище. Откройте хотя бы окно, пока мы тут не задохнулись.

Возможно, конечно, что ему это только показалось, – этот легкий аромат зреющего где-то в глубине раздора, который еще только готовился, только собирался где-то, как собирается едва заметная поначалу буря, пока еще только дающая о себе знать стелющейся по земле травой и шумом еще не сильного ветра, гуляющего в кронах деревьев, но уже готовая

через минуту обрушиться на землю звоном разбитого стекла и треском ломающихся ветвей.

Впрочем, пока все было относительно спокойно.

Глядя на стелющийся под солнечным светом дым, Давид вспомнил вдруг, как год или около того назад вот за этим самым столом они сидели втроем – он, рабби Ицхак и Маэстро, который приехал договариваться о выставке в Иерусалиме, и которого Давид привел в мастерскую Маэстро, чтобы показать картины.

Кажется, тогда поначалу тоже все было спокойно.

В меру – одобрительных отзывов, в меру – нейтральных вопросов. Редкие замечания. Сдержанные, слегка натянутые пояснения.

Рабби Зак больше молчал, кивая головой в ответ на реплики Давида или Маэстро. Иногда он, конечно, делал короткие замечания или просил подвинуть очередной холст ближе к свету, но при этом все равно было трудно понять, какое впечатление у него складывается от увиденного. Возможно, – подумал Давид, – что никакого или даже вполне отрицательное, так что в любую минуту можно было ждать, что он вдруг приподнимет свою черную шляпу и, улыбнувшись, откланяется, отделавшись напоследок каким-нибудь общим вежливым местом.

Похоже, что так оно, кажется, и намечалось. Наверное, Давид почувствовал это по той неловкости, которая вдруг повисла в комнате, – так, словно изо всех щелей потянуло

вдруг холодом или как будто в комнате вдруг убавили свет.

Потом рабби спросил, отчего среди полотен Маэстро так много легко узнаваемых античных сюжетов, а Маэстро ответил, – и при этом немного с вызовом, словно в вопросе рабби Ицхака скрывался какой-то обидный намек, – что он по-прежнему видит в античности эталоны истинности и внутренней красоты, которым не грех было бы поучиться современным мастерам. Затем он как-то легко и сразу перескочил к теме заката античности, отметив, что, по его мнению, конец античного мира знаменует самую ужасную катастрофу, которую пришлось пережить человечеству за всю свою духовную историю.

– Катастрофу, – подчеркнул Маэстро – заставившую мир пойти совсем не в ту сторону, в которую ему следовало бы.

– Античность погубило не христианство, – говорил он, с той твердой безапелляционностью, которая легко подсказывала тем, кто хорошо его знал, что Маэстро плотно сел на очередного новенького конька, и слезет с него, пожалуй, не прежде, чем замучает всех своими новыми идеями.

– Античность погубил монотеизм, который пришел много раньше, – говорил Маэстро, пытаясь заглянуть под поля черной шляпы рабби, у которого, среди прочего, была дурная привычка не только надвигать шляпу почти по самые глаза, но и легко ускользать от того, кто надеялся заглянуть под ее поля, словно он и в самом деле хранил там какую-то важную тайну.

– Тот самый монотеизм, – продолжал Маэстро, – который вылутился из самой античности для того чтобы лишить греческий дух воли и возможности противостоять идее единого Бога.

– Чем же он так, по-вашему, плох, этот монотеизм? – спросил рабби с мягкой улыбкой.

С той самой, которая могла ввести в заблуждение только очень наивного человека

Тем более, отметил Давид, что глаза его из-под шляпы сверкнули вдруг совсем не по-доброму.

– Чем? – быстро переспросил Маэстро, словно давно был готов к этому вопросу и только ждал, когда же его, наконец, зададут. – Вы действительно, не понимаете, чем он плох?.. Да, хотя бы тем, что он убивает любую самостоятельность и лишает человека воли, заставляя его танцевать под чужую музыку... Я уже не говорю про то, что он делает любого человека средством и никогда не целью... Разве этого мало?

– Если посмотреть с этой стороны..., – сказал рабби Зак, не успевая за быстрой манерой разговора Маэстро. – Если посмотреть отсюда...

– Да с какой хотите, – перебил его Маэстро. – Монотеизм тоталитарен. А это значит, что он превращает любого человека в ничто, а мир в душеполезный справочник *«Как быстрее и безболезненнее покинуть это чертово место, куда нас занесло против нашей воли»!*.. Правда, при этом он никогда не дает никаких гарантий.

Кажется, именно тогда Давид отметил, что иногда Маэстро бывает до чрезвычайности мил.

– Всемогущий и не должен давать никаких гарантий, – сказал рабби, успевая воспользоваться небольшой паузой. – Он сам есть одна большая гарантия.

– Тем более, – добавил Давид, – мне кажется, что тебе вроде нравилось называть себя христианином. Или я что-то не так понял?

Если бы не обидчивый характер Маэстро, он бы позволил себе немного издевательского хихиканья.

– Я называл себя христианином в честь великого проповедника и пророка, – злобно сказал Маэстро. – Тем более что Христос, если вы еще не поняли, был и остается персонажем античности, если, конечно, не делать из него идола, бога или исчадьа ада.

Давид снова отметил, что иногда Маэстро бывал не только мил, но и очень трогателен.

– И все-таки вы совершенно неправы, – сказал между тем рабби Зак, качая головой. Тень от его шляпы закачалась на противоположной стене. – Вы почему-то забываете, что в самом понятии «монотеизма» уже содержится все мыслимые и немыслимые возможности, а значит, он дает возможность спасения каждому из людей, потому что в отличие от любой другой вещи, Всевышний ничем не ограничен и знает нужды и горести всех, как свои собственные... Это означает, что для Святого нет ничего невозможного, и, следовательно,

каждый из нас может надеяться на милосердие и понимание.

Сказанное звучало, по крайней мере, если и не убедительно, то, во всяком случае, вполне пригодно для каких-нибудь завершающе-примирительных – «ну, может, и так» или «в конце концов, пусть каждый останется при своем», или «время покажет», для которых были важнее традиционные приличия и умение себя вести, а вовсе не какие-нибудь там великие вопросы, на которые, сколько известно, никто и никогда все еще не дал более или менее вразумительного ответа.

Однако, Маэстро, как выяснилось, и не думал сдаваться и идти на попятную.

– Монотеизм совершил самое ужасное преступление, какое только можно вообразить, – сказал он, наглядно демонстрируя склонность к излишней драматизации. – Он лишил человеческое существование глубины и тайны и сделал из него бледную тень Вселенского Бога... Неужели, этого не видно?

В ответ, рабби с сожалением пожал плечами.

– Да вы только посмотрите, – продолжал Маэстро, по-прежнему пытаясь заглянуть рабби под шляпу и сердясь, что это ему никак не удастся. – Мир теряет красоту и смысл, потому что стоило Богу-Абсолюту дать о себе знать, как все, словно сумасшедшие, устремились от прекрасного мира в какой-то выдуманный внутренний мир, совершенно абстрактный и никак не связанный с реальной действительностью.

стью... Посмотрите, посмотрите! Все вокруг только и заняты тем, что кричат о спасении, но при этом никто не может путно объяснить – зачем нужно спасать это тупое, агрессивное, заблудившееся в своем внутреннем мире существо!

Чтобы посмотреть на реакцию рабби, Давид искоса взглянул на него, но наткнулся взглядом только на опущенные больше, чем обыкновенно, поля его шляпы.

Впрочем, реакция на слова Маэстро, не заставила себя долго ждать.

– Должны ли мы понимать, – негромко и немного глухо осведомился ребе, так что можно было подумать, будто его голос доносится не прямо из-под шляпы, а откуда-то из глубины, – должны ли мы понимать сказанное так, что вы действительно верите в существование богов?.. В Артемиду?.. В Аполлона?..

– В Эриний, – добавил Давид, уже жалея, что притащил сюда рабби Ицхака.

Что бы там ни было, а это был славный вопрос. Он просвистел прямо над головой собравшихся и, кажется, даже на мгновение лишил Маэстро способности говорить. Впрочем, только на мгновение.

– Я верю в то, что красота нашего мира божественна, – с вежливой, но злобной улыбкой сообщил Маэстро.

Так, словно ему не впервые приходилось разговаривать с идиотами, до которых все доходит только с третьего раза.

Кажется, обмен любезностями состоялся, подумал Давид.

– К тому же, – добавил Маэстро все с той же вежливой улыбкой, – вы мне так и не ответили, зачем он вообще нужен, этот самый ваш Абсолют, когда мир самодостаточен и прекрасен сам по себе? Вы ведь не станете, надеюсь, утверждать, что Он нужен для того, чтобы спасти всех без разбора? Потому что если вы это скажете, то впадете в противоречие, утверждая, что с одной стороны, Бог творит ничтожных и недостойных внимания тварей, потому что перед Абсолютом – все ничто и все прах, а с другой, обещает им спасение, то есть, обнаруживает в них нечто ценное. А это, извините – абсурд, потому что нельзя же, в самом деле, спасти полное дерьмо!

– Надеюсь, ты все-таки не о себе, – не удержался Давид.

Потом он вновь посмотрел на рабби, полагая, что тот ответит сейчас какой-нибудь апробированной мудростью, вроде той, которая уверяла, что «для Бога все возможно» или призывала тебя стучать во все встреченные тобой двери, до тех пор, пока тебе не отворят, но, однако, рабби Ицхак, похоже, избрал другой путь.

– Если вы настаиваете, – сказал он, продолжая слегка покачивать своей шляпой, – то для начала я назову только одну причину, благодаря которой Всемогущий кажется мне более реальным, чем я сам... Эту причину можно сформулировать вот как. Понятие «Бог» означает, ко всему прочему еще и то, что человек на этом свете, к счастью, не совсем одинок.

Было видно, что он устал и с трудом подыскивает нужные

слова.

Маэстро усмехнулся. Кажется, по-прежнему зло и, уж во всяком случае, в высшей степени иронично. Потом он сказал:

– Боюсь, что это только в том случае, когда ему есть до человека хоть какое-то дело. А это очень сомнительно. К тому же, – добавил он несколько снисходительно, – отчего вы решили, что человек не будет одинок, общаясь с Аполлоном или Зевсом?

– Я говорил о другом одиночестве, – сказал рабби.

– А есть еще какое-то?

Похоже, Маэстро готов был рассмеяться собеседнику прямо в лицо.

– Да, – ответил рабби и Давид отметил, что в голосе его уже не было ни неуверенности, ни усталости, как будто он успел быстро собраться и подготовиться к дальнейшему разговору. – Конечно. Есть одиночество, которое испытывает человек наедине с самим собой и которое может преодолеть только один Всемогущий, потому что только один Всемогущий в состоянии смыть с человека его грязь и вернуть человека самому себе. Но об этом вы можете легко узнать не у меня, а в книге, которая называется Тора.

– Я так и думал, – сказал Маэстро несколько снисходительно. – Но только на этот раз евреи немного опоздали... Правда, они, конечно, быстренько подняли то, что плохо лежало, но первыми монотеистами были все-таки не они.

– И кто же? – спросил рабби.

– Первым был грек, которого звали Ксенофан из Колофона, – ответил Маэстро. – Человек, который впервые придумал единого Бога.

– Ксенофан из Колофона, – повторил рабби.

– Если, конечно, вам что-нибудь это говорит, – с гордостью сообщил Маэстро так, как будто он сам создал две с половиной тысячи лет назад этого самого Ксенофана и теперь собирался вывести его на всеобщее обозрение, ожидая заслуженных похвал и наград.

В конце концов, речь все-таки шла о Ксенофане из Колофона, сэра!

Об этом юродивом, который поставил себе задачу обсмеять все и всех, для чего он всю жизнь болтался – то по Малой Азии, то по Фракии, то по Пелопоннесу, наживая себе врагов и теряя друзей, так что к концу жизни у него не было никого, кто бы мог закрыть ему веки и прочитать над ним напутственную молитву. Никого, кроме старой облезлой собачонки, которая последние пятнадцать лет сопровождала его в странствиях, и которая, конечно, была не в счет, хоть он и звал ее «Аполлоном» к ужасу благочестивых греков, по словам самого Ксенофана ходивших в отхожее место, не иначе, как испросив на то благословение Небожителей...

Ксенофан из Колофона, сэра.

Ворчливый брюзга в вечно несвежей тунике, у которого была странная манера портить воздух, в то время как он рас-

сказывал о разных логических несуразностях известных философов или об устройстве Космоса, вечно сопровождая эти рассказы непристойными звуками и грубым смехом. Возможно, кому-то это даже нравилось, иначе – зачем бы народ стал собираться на его выступления, если не затем, чтобы посмеяться и позубоскалить, послушать насмешки над богами или злые эпиграммы, которые он сочинял прямо на ходу, к удивлению присутствующих и к сердитой ругани тех, о ком эти эпиграммы были сложены?

Сейчас уже трудно было вспомнить, чему он в действительности учил поначалу, сидя на берегу высохшего ручья в окружении бездельников, которым ведь все равно было некуда девать свое время перед лицом вечной скуки и отсутствия развлечений. Одно только было вполне достоверно, настолько насколько вообще может быть что-то достоверное по истечении стольких лет. Это «одно» заключалось, как рассказывали, в твердой уверенности Ксенофана в том, что делом человека может быть только мнение, тогда как истинное знание всегда ускользает от людей, сколько бы эти последние не гонялись за ним. Я даже думаю, что все, что случилось с Ксенофаном потом, было только следствием этой скептической уверенности в невозможности истинного познания, ибо всякий скепсис, каким бы кардинальным он ни был, всегда, рано или поздно, начинает чувствовать незримое присутствие Истины, которая как-то все же дает нам о себе знать, хотя и остается подобной кружащим в Шеоле те-

ням, – незримой, неслышной, не схваченной словом и разумением. Уже много позже Ксенофана, подтверждая это, систематизатор античного скепсиса Секст Эмпирик, заметил, что скепсис ни в коем случае не сомневается в существовании Истины, но только в том, что эта Истина может быть нам известна. К этому он добавил (развенчав предварительно все претензии догматиков на знание Истины), что среди всех известных философских школ только скепсис может похвалиться тем, что ищет подлинное знание, которое одно в состоянии удовлетворить вечную человеческую любознательность. «Ищут же скептики» – заметил он в одном из своих трактатов, и это означало, что несмотря на все неудачи и сомнения, скептик все еще не терял надежду обрести последнюю Истину.

Вот только этот Ксенофан Колофонский, сэр. Тот, которого поиски завели Бог знает куда – на самый край земли или еще дальше.

Вечный насмешник над не умеющими постоять за себя богами, в чьи, еще ни о чем не говорящие сны уже просачивалась по утрам непонятная тревога, как просачивается под ногами болотная вода, давая тебе знать о скрытой опасности, прячущейся под ярко-зеленой осокой.

Истина, сэр. В конце концов, она легко могла принимать любые обличия, не спрашивая нашего согласия.

Никто не знал толком, когда Ксенофан заговорил о Боге. С большой долей вероятности можно было, пожалуй, во-

образить, что это заговорил не он, а сам Бог, чей голос разбудил его однажды ночью, чтобы заставить его взвалить на свои плечи новую Истину, от которой пересыхало горло, а спина покрывалась испариной.

Наверное, поначалу это было как удар грома посреди ясного неба – Бог, присвоивший себе имя Истины, чудовищный в невозможности найти ему подходящее сравнение, всезнающий, всевидящий и всеслышающий Бог, вечно пребывающий в своем самодовольном бытии, от которого негде было укрыться, потому что он сам был ничем иным, как этой бесконечной Вселенной, не знающей ни уничтожения, ни возникновения, и потому не знающий даже того, что среди людей называлось *временем*

Не исключено, что сам Ксенофан, как свидетельствуют некоторые источники, даже собирался что-то возразить и с чем-то не согласиться, да только скованный ужасным видением, что мог он выдавить из себя, кроме того жалкого хрипа, который вышел из его груди, словно лишний раз подчеркивая человеческую слабость и ничтожность перед лицом чудовища, у которого не было даже имени?

Но самое ужасное было совсем не это, сэр. Этот Бог принес с собой вещи похуже, чем весть о том, что все едино или о том, что в мире больше ничего не происходит. Гораздо хуже было то, что вскоре выяснилось, что этот незнающий сострадания Бог питался красками восхода и заката, запахом цветов и соленого морского ветра, солнечным светом и лун-

ным сиянием, детским смехом и шепотом влюбленных, медленно превращая этот прекрасный мир в отвлеченное понятие, в голую абстракцию, в место, где царствовали безличные законы и не знающие снисхождения цифры.

Мы не знаем, как принял Ксенофан видные пока еще только ему одному перемены. Наверное, сначала у него скребло на сердце и ночью часто снились кошмары, ведь, в конце концов, это он, а никто другой, впустил в наш мир это безымянное чудовище, которое медленно, но неотвратимо превращала мир в ничто.

Очевидцы рассказывали, что в последние годы, когда он поселился в родном Колофоне, его смех умолк и часто случайные посетители заставляли его в слезах или в мрачном безмолвии, когда он уходил на берег и сидел там часами, глядя на море и наблюдая движение облаков, за которыми давно уже не прятались небожители.

Говорили, что с годами он привык и смирился, как с ничтожностью человека, – который по-прежнему мог иметь только недостоверные мнения, но никак не твердое знание, – так и с самодовольством новоявленного Бога, которому дела не было, как до наших забот и тревог, как и до наших обетов, обрядов и жертвоприношений.

Другие рассказывали, – и в этом можно было, при желании, найти отнюдь не скрытую иронию, которую, время от времени, позволяли себе с нами Небеса, – что с годами, Ксенофан начал тайно молиться богам, – всем тем, кого он

прежде отвергал и над кем зубоскалил – прося у них в молитве прощение и призывая богов объединиться против вторгшегося в наш мир чудовища, от которого трудно было ждать что-либо хорошее.

– Похоже, однако, что его призыв остался неслышанным, – сказал рабби Ицхак.

– К сожалению, – кивнул Маэстро.

Потом уже, позже, когда они вышли из мастерской в этот теплый, сладко пахнувший, несмотря на множество машин, вечер, старый рабби вдруг остановился и сказал:

– Конечно, в его голове такая каша, что лучше вообще не обращать на нее внимания. Но что бы он там не наговорил нам сегодня, я вижу, что его сердце до краев наполнено благими пожеланиями, а это все-таки кое-что значит, хотя христианская пословица, кажется, так не считает.

– Пожалуй, – согласился Давид, вспоминая как однажды Маэстро сказал:

– Все, что делаю я, и что делают другие, размазывая краски по холсту, все это только жалкие попытки подражать тому, к чему мы не умеем даже приблизиться... Вот увидишь, придет день, и вещи сами заговорят о себе в полную силу, чтобы вернуть себе самих себя.

– Во всяком случае, – сказал рабби, – он стоит на правильном пути, а это значит, что Всемогущий не оставит его своей милостью...

И все-таки, подумал Давид, пока этот день еще не при-

шел, тень, выпущенная Ксенофаном Колофонским, похоже, все еще лежит на этом мире, делая его неудобным, неприветливым и чужим.

Тень, которую отбрасывали далекие Небеса, ничего не желающие знать ни о твоей жизни, ни о жизни твоих близких и друзей.

Небеса, населяющие мир чужими вещами, чужими людьми, чужими закатами и звездами, которые сами страдали от своей бездомности и своего безмолвия и невозможности дарить свет и тепло.

Делающие человека боязливым, неуверенным и одиноким.

Одно только, пожалуй, вселяло какую-то нелепую надежду, подсказывая, что если дело обстоит именно так, как оно обстоит, то ничто не мешает нам, позабыв обо всех правилах приличия, кричать во все легкие о посетившей нас беде, – вопить, пока хватает сил, чувствуя, как рвутся связки и от крика уходит из-под ног земля...

Кричать, из последних сил вглядываясь в горизонт в нелепой надежде увидеть приближение пыльного столпа, который пойдет перед тобой, сметая все условности и нарушая все приличия, чтобы вывести тебя, наконец, отсюда и уже навсегда.

14. Рыбы небесные

Иногда, правда, с ним что-то случалось во сне, и он просыпался Бог знает в какую рань, чтобы отправиться во двор и посмотреть, как встает солнце или просто подышать свежим утренним воздухом после своей, во всех отношениях уютной, но душной коморки.

Тогда он быстро одевался, споласкивал в столовой лицо и затем легко скользил по пустым коридорам клиники, мимо спящих дежурных, а за окнами только начинался новый день, и охранники внизу, как всегда, с трудом продирали глаза и цедили что-нибудь вроде «О, Мозес, ради Бога», или «Не мог бы еще пораньше», или «Сдурел ты что ли, Мозес, в такую рань?».

Но что бы они ни говорили, в конце концов, им все равно приходилось звенеть ключами, и, зевая, открывать двери, чтобы выпустить Мозеса во двор.

И вот он выходил, не слишком хорошо понимая поначалу – чем тут можно заняться в шестом часу утра, хотя ноги уже несли его сами по лестнице на вторую террасу, а потом на следующую, третью террасу, откуда – минуя разросшуюся акацию – он попадал через потайной лаз возле стены в уютный, украшенный камнями и песком, садик, о существовании которого знали немногие. В этот отгороженный от

прочего мира стеной из ракушечника и старых акаций миниатюрный садик с самодельной скамейкой, сработанной когда-то Мозесом, встав на которую можно было, цепляясь за камни, добраться, хотя и не без усилий, до самого верха и там, подтянувшись, усестся на самом верху стены, глядя, как быстро разгорается далекий горизонт, а лежащий внизу Город начинает медленно возвращаться после ночных сновидений к яви.

Город отсюда казался игрушечным. Особенно в те минуты, когда край солнца только-только показывался над горизонтом, и под его лучами вдруг вспыхивало где-то первое окно, а за ним еще одно, еще и еще, после чего оставалось совсем недолго ждать, когда Город сбросит с себя остатки ночных сновидений и запыхает навстречу поднимающемуся солнцу.

Город, в который его было не затащить и на аркане.

Потом Мозес спускался вниз, в прохладное еще с ночи пространство, которое он непонятно почему называл Садам, хотя это было всего лишь скрытое зеленью акаций маленькое убежище, где спрятавшемся от всего мира, ему неплохо думалось, и где мысли не торопили одна другую, как это чаще всего и случается с мыслями, но, напротив, давали друг другу возможность показать себя со всех сторон, так что случалось, хоть и не часто, что в голове у Мозеса сразу находилось несколько противоречащих друг другу мыслей, которые при этом прекрасно ладили друг с другом, словно хоте-

ли подчеркнуть этим, что все противоречия носят, безусловно, временный, преходящий и не существенный характер, на который не следует обращать слишком пристального внимания...

Бывало, впрочем, и так, что Мозес еще только намеревался подняться на первую террасу, когда за спиной его слышалось легкое позванивание колокольчика, мягкий перебор шагов, и кто-то большой, теплый тыкался ему в затылок и говорил что-нибудь вроде «крых-ммм-м» или «крымх-х-х», или даже просто «кр-р-р-х», а потом, кажется, собирался выпустить на Мозеса целый водопад слюней, от которых ему приходилось немедленно спасаться бегством.

Слюни, как и это «кррымх-х», принадлежали двугорбому верблюду не первой молодости, которого звали Лютер и который с некоторых пор жил на территории клиники, причем жил совершенно свободно, без обязанностей и ответственности, – этакий ни от кого не зависящий самостоятельный верблюд, разгуливающий по территории клиники, но при этом умеющий быть крайне пунктуальным, когда подходило время утренней или вечерней еды, о чем напоминало тогда его тревожное и беспокойное «крымх-х-х, крымх-х-х, крымх-х-х».

История Лютера была печальна, как и все истории про городских верблюдов, но конец ее оказался, тем не менее, вполне счастливым, как это, впрочем, иногда случается даже с верблюдами, и при этом без каких либо особенных на то

причин, – просто случается и все тут.

Его последнего хозяина звали Омар бен Ахмат, по кличке «Сумасшедший». Он и правда был сумасшедшим, и его история тоже была печальна, как, впрочем, истории всех сумасшедших начиная с основания мира. Ее легко можно было изложить в двух словах, эту историю, которая рассказывала о тяжелом детстве, о бедности, о ранней смерти родителей, несчастной любви, смерти первого ребенка, и вновь о бедности, о смерти жены, о нищете, усталости и постыдной привычке прикладываться к бутылке, и вновь о нищете, болезни, безнадёжности и глухой и бессильной ненависти к своим удачливым собратьям.

Однажды ночью Омар проснулся с твердым убеждением, что во всех его бедах и страданиях повинны американцы и лично президент Соединенных Штатов, а кроме того, все прочие неверные, на чьи головы следовало поскорее обрушить проклятья, напомнив им о том, что Рыбы небесные, смотрящие на тебя с высоты и знающие глубину твоего падения, уже готовы сжечь этот погрязший в грехах мир и только их святое милосердие останавливает до поры этот праведный гнев.

– Рыбы Небесные призовут вас к ответу, – кричал он, подъезжая к воротам клиники и развлекая своими криками охранников, которые вылезали по такому случаю из своей будки и вволю веселились над этим сумасшедшим арабом и его облезлым верблюдом, у которого, кажется, даже не было

имени.

– Рыбы небесные, – кричал он, указывая своей палкой на небо, – сожгут вас огнем неугасимым, от которого нет спасения!

Охранники весело смеялись и свистели.

Безымянный верблюд мирно щипал растущую у ворот травку и время от времени поднимал голову и смотрел на смеющихся охранников.

– Рыбы небесные, – надрывался Омар, забываясь и хлеща верблюда своей палкой. – Разверзнется земля, и только праведник устоит перед лицом Всемогущего!

В ответ на побои, верблюд отрывался от сухой травы, поднимал голову и смотрел на своего хозяина печальным и понимающим взглядом.

– Рыбы небесные, – кричал тот уже сорванным голосом, помогая себе жестами. – Рыбы с железными зубами, пускай падут они на головы неверных, пусть сожгут их на медленном огне своих глаз, пусть выпьют их кровь и съедят их плоть...

Охранники покатывались со смеху и хлопали друг друга по плечу, не в силах остановиться.

В ответ на вопрос, кто же все-таки они такие, эти Рыбы, плавающие в небесах, Омар обыкновенно презрительно ухмылялся и плевал в сторону клиники или в сторону спрашивающего, а вслед за ним плевал, явно подражая ему, и его не первой молодости облезлый верблюд, у которого это, конеч-

но, получалось гораздо лучше, чем у Омара, хотя и у Омара тоже выходило неплохо, и охрана просто сходила с ума от смеха, а особенно тогда, когда кому-то надо было пройти через ворота, и тут уж верблюд обнаруживал просто снайперское умение, так что его слюни оказывались вдруг метров за пять или больше на чьей-нибудь рубашке или костюме, что уже совсем добивало бедных охранников, так что они торопились поскорее спрятаться в свою будку, откуда еще долго доносился их веселый смех.

Впрочем, эти развлечения охранников и крики Омара продолжались совсем недолго. А продолжались они недолго по той простой причине, что у Рыб небесных, похоже, оказались какие-то странные представления о благодарности, так что однажды, когда Омар, подъехав к воротам клиники, уже собирался привычно обличить всех неверных американских псов и призывать на их головы Рыб небесных, эти самые Рыбы так запутали уздечку его верблюда, что когда Омар захотел спуститься на землю, он мгновенно запутался и повис вниз головой, извиваясь и пытаясь дотянуться до какой-нибудь точки опоры, что только усложнило его положение, причем до такой степени, что спустя несколько секунд безнадежной борьбы, он повис бездыханный и распятый на верблюде, да к тому же еще вниз головой, словно распятый святой Петр, что можно было расценить, как своего рода небесную иронию, которую время от времени позволяют себе Небеса...

Впрочем, подумал как-то Мозес, все случившееся можно было объяснить гораздо проще, например тем, что Рыбам небесным просто надоело слушать истошные вопли и они, посоветовавшись между собой, решили избавить свои уши от этих несимпатичных и вполне бессмысленных звуков.

Как бы то ни было, тело погибшего увезла санитарная машина, а верблюда, до поры до времени, привязали к воротам клиники, где он провел остаток дня и всю ночь, а потом еще полдня, в течение которого никто опять не догадался его покормить и напоить, кроме Мозеса, Иезекииля и Амоса, которым в один и тот же день пришла в голову остроумная мысль – оставить верблюда в клинике, на что, конечно, требовалось разрешение Совета директоров. И еще разрешение муниципальных властей, и еще разрешение полиции, а еще разрешение разных санитарных инстанций, которым и так хватало забот без всякого приبلудного верблюда, – все эти сотни согласований, разрешений и инструкций, которые, с другой стороны, можно было легко обойти, стоило только немного подумать, как это лучше сделать.

– Вы только посмотрите на это прелестное животное, – сказал Мозес, подходя вместе с Амосом и Иезекиилем к воротам клиники, чтобы посмотреть на верблюда, о котором им рассказал кто-то из пациентов. – Сдается мне, он мог бы стать хорошим украшением нашего зоопарка.

– У нас, что, есть зоопарк? – спросил Иезекииль.

– Во всяком случае, он мог бы стать первым экспонатом, –

сказал Амос.

Конечно, вытертая на боку и коленях шерсть и несимпатичные бородавки и складки, равно как седые волосы, вылезающие то там, то тут, наводили на мысль о том, что этот верблюд помнил минимум время османского владычества. Желтые зубы торчали в разные стороны. Большие черные глаза слезились. В шерсти копошились какие-то насекомые. Потом верблюд положил голову на плечо Мозесу и зарыдал. Крупные слезы покатались по его щекам и груди.

– Я сейчас заплачу сам, – пообещал растроганный Иезекииль. – Хотя последний раз я плакал в 1940 году, когда немцы увезли мою семью.

– Он чувствует, что мы можем ему помочь, – сказал Амос. – Сдается мне, что его никто не кормил.

Словно догадавшись, о чем идет разговор, верблюд издал громкое «крымх-х-х» и опустился на колени, чтобы продемонстрировать присутствующим единственное дело, которое он умел делать хорошо – возить и таскать.

Между тем, время шло, а за верблюдом никто не торопился, как никто не торопился и за телом Омара бен Ахмата, которого похоронили, наконец, за государственный счет в самом дальнем углу одного глухого мусульманского кладбища, а его верблюд постепенно стал частью привычного пейзажа, в котором, впрочем, не было ничего особенного, потому что верблюда в этом городе можно было встретить на каждом шагу.

Время текло и вместе с ним увеличивалось число доброжелателей верблюда, которые приходили полюбоваться этим древним домашним животным и приносили ему пожевать что-нибудь вкусненького, и среди них даже два члена Совета директоров, которые остались вполне довольными этим посещением, несмотря на то, что одному из них верблюд изволил слюной весь костюм.

Наконец, наступил день, когда администрация клиники пришла к поистине мудрому решению – немедленно отдать верблюда, если за ним придет его хозяин или если этого потребуют власть предержащие, а до того оставить его в мирно пасущемся состоянии на хозяйственном дворе, обязав кухню кормить его не менее одного раза в день, для чего рекомендовалось обзавестись специальным баком для отходов.

Конечно, «временное решение вопроса» вполне устраивало всех, кто был занят этой проблемой, а особенно, конечно, самого пощипанного жизнью верблюда, который, волей случая попав на двор клиники, с изумлением узнал, что на свете встречаются такие потрясающие вещи, как овсяная каша на воде и засохший хлеб, так что теперь он не желал даже и шагу ступить от ворот, глядя на Моисея или Амоса как на каких-то верблюжьих богов и даже пытался всякий раз покачать их на своей спине, для чего он даже приседал, подогнув коленки и сетуя своим недовольным *кррмх-х* на непонятливость этих глупых двуногих.

Назвать верблюда Лютером пришло в голову Иезекиилю,

который считал, что у Всевышнего всякая вещь пронумерована и занесена в особый реестр, чему следовало бы поучиться у Него и нам. Конечно, до того, как попасть в клинику, верблюд имел множество разных имен и кличек, например, «эй ты», или «старая падаль», или «вонючка», или «пошел вон, урод» и все в таком же духе, что, по мнению Иезекииля, никак не способствовало ни его нравственному совершенствованию, ни его боевому духу, ни вообще чему-нибудь, что выгодно отличает божьих тварей от нечистых демонов.

– Мы назовем его «Лютер», – сказал Иезекииль и пояснил: – Весь фокус в том, ребята, что при этом никто не будет знать, каким именно Лютером мы его назовем. Лютером Мартиным, реформатором, или Мартином Лютером Кингом, политиком, или Колином Лютером Пауэллом, генеральным секретарем, или Сабервальдом Лютером Младшим, изобретателем двойного клавирика... Просто Лютер и все тут.

– Но в чью же, все-таки, честь он будет назван? – спросил Амос. – Кто-то ведь про это будет знать?

– Наверняка, – ответил Иезекииль, – Но только не я.

– Понятно, – сказал Амос.

Надо сказать, что двугорбая скотина довольно быстро привыкла к своему имени и теперь на всякое упоминание Лютера она охотно отвечала «крмх-х» и смотрела в ту сторону, откуда время от времени появлялась в баке вкусная еда.

Со временем, эта история как будто стала постепенно за-

бываться. Но не совсем.

Прогуливаясь как-то с Мозесом по второй террасе и проходя мимо пасущегося Лютера, которому по случаю выходного разрешили немного порезвиться во дворе, Иезекииль сказал:

– Я все думаю об этих Рыбах небесных, Мозес... Слышал, что рассказывал сегодня Габриэль?

– А что? – сказал Мозес.

– А то, что в последнее время по ночам над клиникой видели кое-что совершенно несусветное. Странно, что ты ничего не слышал.

– Несусветное, – Мозес не скрывал своего скептицизма. – И что же это было, это несусветное?

– Это был, с твоего разрешения, тот чертов Омар бен Ахмат, который посылал на наши головы проклятья, – сказал Иезекииль. – Он летал ночью над нашей клиникой и кричал, что Рыбы небесные уже близко. Габриэль сказал, что разговаривал с одним из третьего отделения, который сам это видел прошлой ночью.

– Иезекииль, – Мозес скептически посмотрел на Иезекииля. – Ты веришь всему, что рассказывают обитатели третьего отделения?

– Прошлое имеет обыкновение возвращаться, Мозес, – сказал Иезекииль таким голосом, как будто Мозес никогда ничего подобного не слышал. – Оно возвращается и требует от тебя, чтобы ты вернул ему все до крошки. До самого по-

следнего агорота. Подумай об этом на досуге.

– Оно возвращается, когда ему есть куда вернуться, – сказал Мозес. – Туда, где пусто. Слышал когда-нибудь историю о семи бесах, которые привели с собой еще по семь, обнаружив, что в душе у человека царит пустота?

– Не будь таким самонадеянным, – сказал Иезекииль. – Самаэль – парень не промах. Запутает так, что не узнаешь потом родную мать.

– А как же Рыбы небесные?.. Неужели не помогут? – насмешливо спросил Мозес, впрочем, не очень рассчитывая получить ответ.

– Рыбы, – сказал Иезекииль. – Да мы сами тут как Рыбы небесные. Плаваем, где угодно, но только не там, где нам следовало бы плавать по всем законам.

– Может, в этом как раз и все дело? – спросил Мозес.

– Может быть, – ответил Иезекииль.

Потом Мозес сказал:

– Ладно, приму к сведению.

И помахал смотревшему в их сторону Лютеру.

– Уж сделай такую милость, – сказал Иезекииль.

– Конечно, – сказал Мозес.

И все-таки, сэр.

И все-таки Мозес.

Следовало признать, что прошлое приходит к нам, когда ему только вздумается, просачиваясь сквозь щели и тревожа нас во снах, не давая сосредоточиться и насмешливо щурясь

над нашими жалкими попытками обуздать эти ночные страхи и дневную тоску.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.